СОЛДАТ И ЦАРЬ

Фрагмент романа

Прелюдия

...Моя бабушка, Наталья Павловна Еремина, была пятой дочерью моих прабабки и прадеда, а всего детей родилось одиннадцать. Я ловила, как котенок, клубок из ее корзины, у ее толстых, мощных ног, когда она вязала. Или шила — на старой ножной швейной машинке. Нога бабушки ритмично двигалась, ткань ползла из-под руки.

Баба Наташа держала в зубах нитки, иголки. Когда вязала — и спицы, как собачка палку. Я смеялась. Она вынимала спицу изо рта, беззубо и морщинисто улыбалась мне и говорила. Рассказ будто не прерывался. Я вздыхала и слушала. Вертела в пальцах перламутровую пуговицу от старого бабушкиного сарафана.

Бабушка рассказывала о прадеде Павле, а потом еще об одном человеке, его друге:

— Твой прадедущка Павел нам этот дом построил. Верней, перестроил, из ветхого старья. Плотник был отменный. Топор танцевал в его руках. А уж настрадался он в жизни! Где только не мучили его! В особом лагере на Новой Земле отсидел пятнадцать лет. До этого — Соловки. До Соловков — Уссурийск. До Уссурийска — поселение, Минусинская котловина. Там у него и женщина была! Мать знала, сильно плакала. А до Минусинска... был Омск... а до Омска — Екатеринбург, теперь Свердловск... там он горячего хлебнул... а до Свердловска — Тобольск... А в Тобольск отец прямо с войны попал, из окопов... А на войну — из Нового нашего Буяна взяли...

Я отматывала, вместе с бабушкой, клубок времени назад. Разматывала время... Только сейчас разматала — а ветер уже разметал клочья шерсти, порванные нити. Время — ветер, оно выдувает непрошенные мысли. Почему «хлебнул горячего» в Свердловске? Почему у этого города два имени? Горячее — это страшное, я догадалась тогда.

Много позже я узнала, уже со слов моей матери: прадед Павел Ефимыч, красноармеец, служил в отряде, который сторожил царскую семью в Ипатьевском доме в Екатеринбурге.

Елена Николаевна Крюкова родилась в Самаре. Прозаик, поэт. Член Союза писателей России с 1991 года. Профессиональный музыкант (фортепиано, орган, Московская консерватория, 1980). Окончила Литературный институт им. Горького (1989), семинар А. В. Жигулина (поэзия). Публикации: «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Нева», «День и ночь», «Сибирские огни», «Бельские просторы» и др. Автор книг стихов и прозы (романы «Юродивая», «Царские врата», «Пистолет», «Врата смерти», «Dia de los muertos», «Тибетское Евангелие», «Русский Париж»). Работает с издательствами «ЭКСМО» и «Время» (Москва), «ЛИТЕО» (Москва). Лауреат премии им. Цветаевой (книга «Зимний собор», 2010), Кубка мира по русской поэзии (Рига, Латвия, 2012), премии журнала «Нева» за лучший роман 2012 года («Врата смерти», 2012, № 9), премии Za-Za Verlag (Дюссельдорф, Германия, 2012), премии им. А. М. Горького (роман «Серафим», 2014), Международной премии им. И. А. Гончарова (роман «Беллона», 2015), дипломант премии им. И. А. Бунина (роман «Беллона», книга рассказов «Поклонение Луне»). Живет в Нижнем Новгороде.

Я с замиранием сердца спрашивала маму: а правда, прадедушка Павел расстрелял царя? Мать прижимала палец к губам. Так же как бабушка, она всегда шила — на ручной швейной машинке «Подольская», черной, чугунной, с золотой вязью по гладким женским бокам. И все так же ползла из-под руки, со стола на пол, разнообразная ткань.

Палец, прижатый к губам, говорил без слов: рассказать нельзя. Запрещено.

Мама, глазной врач, рано надела очки. Сапожник без сапог. Толстые стекла непомерно увеличивали глаза. Мы, девчонки, таких лупоглазых цариц рисовали чернилами на школьных промокашках. Она стала портнихой по наследству, домашней, только для семьи. Шить она умела все — от пальто и шубы до детской распашонки. Все семейство обшивала. Ночами.

Однажды ночью я услышала, как она плачет. Осторожно ступая босыми ногами, вышла в большую комнату — мама называла ее «зала». Большими красивыми руками мать вцепилась в чугунную плаху «Подольской», лоб лежал на руках, она всхлипывала. Толстые очки валялись на полу. Я подошла и погладила ее по плечу. Подняла очки.

«Мама, что ты плачешь?» — спросила я робко. Я не умела утешать, стеснялась. Меня ласкали и любили, а я не умела ласкать. Боялась. Мать утерла лицо ладонями. Потом погладила мне шершавой, будто наждачной ладонью заспанное лицо.

«Деда вспомнила. Как он нас всех, сестер, любил. Меня звал Нинусик. Томочку — Тамочка. Валю — Валеночек. А ты знаешь, доченька, ведь он царскую семью расстрелял. И на всю жизнь это запомнил. А все равно его по лагерям затаскали. Не помиловали. Хотя видишь, ради советской власти он невинных людей убил».

Как это невинных, думала я смятенно, ведь проклятые цари мучили народ, стреляли в него, издевались над ним! Надо было обязательно их убить! Нас так учили в школе. Я не знала другой правды, да и не было ее.

Я стояла, слушала мать, водила пальцем по золотым вензелям на черном чугунном боку швейной машинки. Машинка напоминала мне черную тяжелую корову. А на корову кто-то накинул попону с золотыми, царскими узорами.

«А когда его увозили на подводе из Буяна на поселение — он так всех нас обнимал! И плакал, и кричал: я еще вернусь, вернусь!»

Мать крепко вытерла лицо падающей на пол материей. Потом начала, среди ночи, шепотом рассказывать про молодого прадеда Павла. «Остались снимки... там он такой красивый... и деток красивых нарожал от Насти, да и она была хороша, полька... А про царей он нам рассказывал, сажал нас на колени и губы мне к уху прижимал, — губами щекотал... Говорил: цари были такие тихие. Смирные... Дочери — хорошенькие. Особенно ему нравилась Мария... Он все их имена помнил, а мы путали... А потом обнимал нас и плакал. Мы его спрашивали: ты что, деда, плачешь? Тогда он смеялся через силу и кивал: правильно, солдаты не плачут!»

Так я и представляла прадеда Павла — то плотником с топором в руках, то солдатом с винтовкой за спиной. Он стоит, винтовка на плече, курит махорку, а вокруг солдаты, друзья толпятся.

...Потом все эти солдаты стали приходиться ко мне во сне. Именно солдаты, а не цари, хотя правильной было бы, если бы девочке, по девчачьему чину, снилась царская семья — гордая царица и царевны в кружевных платьицах. И бородатый важный царь.

Я потом увидела в книгах фотографии царя — в военной форме; он тоже был солдат. Для меня тогда не было разницы между офицером и солдатом. Все в гимнастерках, и у всех суровые военные лица. Брови нахмурены. Только одни солдаты делают революцию, а другие на них нападают, чтобы красную, прекрасную революцию убить.

А потом те и другие объединяются и однажды защищают нашу Родину от страшного чужого врага.

Когда Гитлер напал на Советский Союз, прадед Павел отбывал срок в особом секретном лагере на Новой Земле. Всю войну с фашистом он просидел там, на мертвом Севере, где белые льды и красные жуткие закаты. Где медленно колыхается, варится серое ледяное олово моря. Заключенные шили для Советской армии тулупы и валяли валенки. Валеночки...

И убили Павла Ефимыча, прадеда моего, при попытке побега. Бежал вместе с другом. Сухарей тайком насушили, хранили под старой лодкой. Этому самому другу удалось бежать, а Павла подстрелили. Часовой с вышки стрелял метко. Друг снял у Павла с груди темный, позеленелый крест. На себя надел. С двумя крестами шел. Добрался до Волги, до Костромы. На барже плыл, милости ради. Донес до Самары. Отдал дочке, Наталье Павловне.

Я смутно вспоминала бормотанье бабушки: «Сидел на кухне... столы газетами покрыли... как раз пост, пирожки с картошкой матушка испекла... Крест у меня на ладони лежал, я его слезами обливала... А этот человек, царствие ему небесное, до нас добрался, как хорошо, последнюю весточку принес...»

И хорошо, ясно помнила я: на шее у бабы Наташи, на груди, чуть ниже яремной ямки, тяжелый медный крест, слишком тяжелый и большой, неженский. Такие нательные кресты носили служилые и торговые люди, солдаты, крестьяне. Мужики. Я залезала к бабушке на колени и трогала крест пальцем. Он не охлаждал палец, а странно обжигал.

Сейчас думаю: вот он носил крест, Павел Ефимыч. В Бога — верил. Тогда все верили. Нельзя было иначе. И все же поднял руку на царей. На своих царей.

Представляла, как прадед Павел стоит, с ружьем наперевес, и ружейный ствол — на царя наставляет. Может, это он и убил последнего царя?

Честь убить царя пытались присвоить многие. Цареубийца — это же навсегда в истории!

Бабушка рассказывала не только о человеке, донесшем до семьи Павла Еремина его нательный крест; а еще об одном. С ним Павел Ефимыч служил в красном отряде в Екатеринбурге. Этот был не только прадеда друг. Но и бабы Наташи, так я понимала.

Потому что она ласково и в то же время сердито называла его, будто обзывала: «Мишка Лямин». Скажет: «А, Мишка Лямин...» — и рукой махнет, будто муху отгоняет. То ли презрительно, то ли озорно. Будто самого этого загадочного Мишку, смеясь, по руке бьет. Значит, знала она его, этого Мишку.

В ящике старинного письменного стола красного дерева у бабушки среди разных фотографий лежала и такая: два солдата стоят перед камерой, глядят в объектив осовело. Слишком долго, видно, держал их нерасторопный фотограф перед волшебной коробкой: никак не мог зажечь магний. Я рылась в ящике, когда бабушка уходила за кефиром, молоком и творогом, доставала из ящика пожелтый сникот. Кто слева, кто справа? Прадеда Павла я уже узнавала: он и правда был красив. Степной и дикой красотой. Брови вразлет, фуражка надвинута на лоб, узкие калмыцкие глаза. Рядом пялился в камеру другой солдат. Ростом выше Павла Ефимыча. Длинный и нескладный. Шинель мала, чуть выше колен. Не шинель, а казачий тулуп. На башке буденовка. Глаза таращит. В отодвинутой вбок руке сжимает винтовку, крепко упирая ее прикладом в дощатый пол.

Я глядела на снимок и со сладким страхом думала: а может, это он убил?

«Мишка Лямин, — тихо говорила бабушка, разложив на столе кефир, и творог, и белые, будто мраморные, яйца, и мясной горячий пирог в промасленной бумаге,

глядя из-под очков на желтый, коричневый, как в печке запеченный, снимок в моих руках, — Мишка, рыжий, бесстыжий, он наш, буянский, он же ко мне сватался. А я ему отказала. Ох и рыжий! Аж красный был! Вот какой рыжий! Идет по Буяну — как фонарь горит! Издалека видно! И после Гражданской войны тоже приезжал в Буян. Тоже свататься хотел. Мне сказали. Да я уже вышла за деда твоего, Степана. А Мишка до нашей избы так и не дошел. Застеснялся. Ну что ж... Судьба такая».

«А что с ним потом стало, с этим Мишкой?» — спрашивала я.

«До генерала дослужился», — с тяжелым, длинным, как жизнь, вздохом отвечала бабушка.

Когда бабушка Наталья умерла, все ее вещи достались дочерям Валентине и Тамаре. Нина, моя мать, не получила из ереминского дома ничего: ни вещицы, ни иконки, ни фотографии, ни вышитой бабушкиными руками подушки. Хотя очень просила: «Отдайте мне корзинку с последним вязаньем и спицами».

...Бабушка сидит. Вяжет. Во рту держит две спицы с янтарными шишечками-наконечниками. На столе наперсток, серебряный, с такой же янтарной головкой в дырках. Ножная финская машинка укрыта холстиной. «Ты знаешь, Леночка, они, отец и Мишка, очень дружили. Переписывались. Отец вернулся с Урала в Новый Буян — ему то и дело от Мишки почту приносили. А отец не умел особо писать, хотя грамотный был. Однако Мишке отвечал. Карандашом царапал. В Буяне Павел Ефимыч стал церковным старостой. Маслобойку завел... мельничошку... А потом письма перестали приходить. Нас раскулачили... мельничошку отняли, маслобойку покалечили... сломали... Все сломали, все».

Я жила и не думала об этом друге. О солдате рыжем и бесстыжем. А в последние годы вдруг стала думать о нем. И видеть его. Почему-то его, а не прадеда Павла, — ярче, четче.

Что такое смерть? Это когда забывают напрочь. А жизнь, наверное, это когда видят и помнят.

Недавно мне приснилось, что в меня стреляют. Но я не убегаю. Я стою ровно и тихо. И смотрю убийце прямо в лицо. Я хорошо знаю его. Помню по желтой фотографии.

Вот здесь у него морщинка под глазом. Вот здесь, возле уха, родинка. Он мне как брат. Родной.

...И он не опускает винтовку. Он стреляет все равно. <...>

* * *

...Опять ночь, и опять не спать. Раньше они привыкли к дисциплине. Когда их арестовали и сослали, дисциплина рухнула: ее расстреляли, а потом сожгли.

Царица, в ночной сорочке, расчесывала волосы и все пытала царя: знаешь ли ты что-нибудь об этом страшном человеке? О ком, моя прелесть? О Ленине.

И царь вздыхал. Ему не хотелось беседовать об этом на сон грядущий, но жена спрашивала, и он не мог ей отказать. Я мало знаю о нем. Но то, что знаю, и правда страшно. Он впустил германцев на Украину. Украины с нами больше нет. Там командуют австрияки. Он залил русскую землю кровью, ты же видишь, текут реки крови, и я, царь, уже не в силах это остановить. Я подслушиваю речи красной охраны. Я слышу ужасное. Он пытается в подвалах и расстреливает невинных людей. Многие уезжают. Боже, Боже мой, Ники, почему же мы, мы не уехали?!

Царица клала изящную английскую расческу на край табурета. Вместо туалетного столика — кривоногий табурет. Вместо ковров — грязные ситцевые тряпки, чтобы закрыть на стенах дождевые потеки и кровавые следы раздавленных клопов.

Кто пустил его во власть? Никто. Откуда он появился? Никто не знает. Вроде бы, милая, он жил за границей. И, кажется, люди говорили, что когда-то, давно, мой отец повесил его старшего брата. За то, что он был террорист. И покушался на жизнь моего папá.

Какой негодяй, шептала царица и приглаживала ладонями седые волосы, какая дрянь! Вдруг прижимала руку ко рту — так она делала всегда, когда слишком волновалась. А ты не думаешь, милый, что он арестовал тебя, нас всех, потому что хочет нам всем — за брата — отомстить?

О, нет, наверное нет. Он, видимо, просто сумасшедший. Умалишенный. Русь, милая, всегда славилась юродивыми. Они ходили по площадям, городам и деревням, побирались, нищенствовали и пророчили. Да! Пророчили! Но ведь не убивали же никого! Да, юродивые Христа ради никогда не убивали никого. А этот — страшен. Он просто с виду здоров. Он пишет и произносит речи, отдает приказы, объявляет мобилизацию, из отбросов, из ненавидящих нашу жизнь Красную Армию создал. А на самом деле он — страшный больной. Он, милая, тяжело болен. Он требует хорошего лечения, но его не излечишь. Он упивается своей болезнью, он обожествляет ее. Это я чувствую. Все, что не ложится под его красные идеи, должно быть уничтожено, раздавлено, застрелено, сожжено. И приспешники его такие же. Но, видно, он умеет красно говорить, он зажигает толпу. Народ идет за ним, как за Крысоловом из Гаммельна. О! Милый! Крысолов из Гаммельна! Моя любимая сказка в детстве. Но я так боялась, так боялась этого Крысолова! И вот... мы до него и дожили...

Ты видишь, видишь, какие он бросает лозунги в толпу? Когда в Тобольске мне еще доставляли газеты пачками, я все, все читал. Смысл всех его речей и воззваний был один. Какой же, солнце? Не молчи! Говори! Когда ты говоришь, мне легче!

И царь быстро, смущенно, торопливо, боясь причинить боль, но опасаясь и утаить правду, говорил, и царица жадно ловила тихие, гладкие бусины катящихся по кровати, по полу слов, таких с виду обычных, а на деле — тех, что люди произносят один, два раза в жизни, а может, и никогда: знаешь, Sunny, он освобождает людей от страха убийства. Ну да, да, так просто, он развязывает им руки, он развязывает совесть, он... думает так и вслух говорит так: убивайте, убивайте, убивайте, сжигайте, стреляйте, насилуйте, грабьте, режьте, рубите, топчите ногами — все можно, все в вашей власти, нет страха, все — ваше, Бога — нет! И, милая моя, толпа... слушает его, и загорается, и орет, и рычит, и хочет — всего... всего того, чего у нее нет... и не было... Солдаты говорят: у него такие глубокие, такие печальные, думающие, такие бездонные глаза. Глаза — без дна. Он пишет свои декреты и морщит лоб, и прикрывает эти глаза без дна тяжелыми веками. Я читал эти декреты, солнце. Это декреты умалишенного. Это каракули безумца. Все отнято у буржуев и поделено. Отобрать и поделить! Он не раз повторял это в своих речах. Красные в восторге от этого. Они наизусть учат эти декреты! А там!.. там... все наше имущество отнято у нас и роздано всем, самым последним нищим, там буржуи в поте лица работают на заводах и фабриках, и станки отрезают им руки и раздавливают ноги, там у крестьянина земли — не то чтобы надел, а — вся страна! Вся! У каждого! А женщины там, darling, женщины... ты не поверишь... но не затыкай уши... поделены между всеми мужчинами... нет жен и мужей... а женщины — всеобщие жены, они принадлежат всем...

Царица сидела, слушая, с прижатой ко рту ладонью. Но ведь, милый! милый! — он ненавидит Россию! Как же надо ненавидеть Россию, чтобы вот это все делать с ней!

Царь, в солдатском исподнем, лег на кровать и подложил руки под затылок. Он сначала сморщился всем лицом, будто хотел заплакать и не мог, потом все морщины разгладились, брови расправились и полетели по лицу балтийской, забытой чайкой.

Ненавидеть? Россию? Он едва не смеялся. Еще немного, и смех разорвет его рот, его щеки. Жена прижала ладони к щекам и застыла, глядя на него ледяными, зимними глазами. Милый, что с тобой? Тебе плохо? Тебе... может, воды принесу? Да. Нет. Да, ненавидеть! А разве Россию можно любить? Ну вот скажи, разве можно? Россия свергла нас с трона, унизила, растоптала, мотает по кошевам, пароходам и поездам по Сибири. Россия, милая, может, Ленина давно ждала! Ждала и заждалась! И — дождалась! Ей — Ленина надо было! Не меня! Не отца! Не моего несчастного деда с кровавыми култьями вместо ног! Не царей, нет! Ей, солнце мое, надобны жестокость и кровь, и она всегда, всегда такая была, наша Россия, — а я, дурак, не знал... не понимал, не сознавал... и теперь... только теперь...

По спокойному, странно светлому, чистому лицу катились спокойные, медленные слезы. Руки так же были закинута за голову. Ворот исподней рубашки отогнулся. На волосатой, уже седой груди блестел медный нательный крест. Жена встала перед кроватью на колени и покрыла поцелуями эту родную грудь, руки, припала к меди простого, как у мужика, крестика. Ладонями отерла с его лица слезы. Это родное, до морщины знакомое, жестоко, на глазах стареющее лицо было сейчас так чисто, светло и ясно, как никогда; будто никакая грязь, никакой ужас, кровь и безумие его никогда, даже краем, не касались.

* * *

Они все вооружены. Все до единого с оружием. Хорошо Авдеев их вооружил. Не царей убивать, конечно; они ж не изверги. Это если на них кто-нибудь извне полезет. А ведь полезут, вот, ей-богу, святой истинный крест... тьфу ты, опять это богово, какое ж прилипучее, честное слово, полезут. Неужели они, отправляя на волю письма, ни в едином не обмолвились о своем спасении?

«Их спасение — наша смерть. Все проще простого. А потому, Мишка, смотри в оба и другим присоветуй. Ночью-то не спи».

Он не спал, если ночью Авдеев ставил его на охрану; пучил глаза во тьму, а весенняя тьма была светлая, голубиная. Пасхальные дни всегда такие. Небо нежней голубиной грудки. Поймай голубку и расцелуй ее в клювик! Она Господу привет понесет.

«Вот заладили: Бога нет, Бога нет. А ну как Он есть?»

На лестнице сегодня стоят латыши, а еще молодняк, злоказовские. Со Злоказовского завода. Это Авдеев их пригнал: его рабочие дружки. Лица какие славные у них. Горят верой. Человек должен во что-то верить! Отняли Бога — веруй в революцию. Отняли царя — верь в Ленина, он не подведет. Он за всех болеет, одним пустым чаем у себя там в Кремле питается. Не спит. Склонен над картой. Глядит на страну опухшими от бессонья глазами. Карта вся горит под его руками. Там и сям кострища, огни. Строчат пулеметы. Рвутся бомбы. Один город Ленин красным карандашом обведет. Другой — обведет. Стрелки нарисует: вот так движутся войска. Они там, в Европах, и эти, бывшие, контрреволюционеры, с ног сбились, на языке мозоли вспухли: убеждают друг друга и весь мир, что большевики — чума, холера, гибель, язва египетская. Ну, будет вам язва!

«Мы наш, мы новый мир... построим...»

— Эхэй, Михаил! Запарка, тшай, эст?

Михаил стоял на первом этаже, около лестницы. Со второго этажа, с последней ступеньки, через перила свешивался австрияк Фридрих Зеeman.

— Фриц, спать тянет, да?

— Та, та! Йа! Тафай запарка!

Лямин полез в карман и вытащил пакет с заваркой. Пашка отсыпала ему на кухне, сама бумагу уголочками завернула.

Кинул пакет вверх. Австрияк поймал.

— Держи.

— О, данке, данке, топарисч!

Латыши, австрияки. Интернационал. Латыши молчаливые, словечка не изронят. Так и стоят на карауле с мраморными мордами. Мраморные белобрысые львы. Лямин сколько перевидал этих каменных львов у домов богатеев: в Самаре, в Саратове, в Тобольске. Символ власти! «Все, теперь львы — мы».

Еле добьешься от латышей, кого как зовут. Да у всех имена невысказанные, похожи на немецкие: Генрих, Ингерд, Готфрид, Интарс. Да и поклещешь — башку не обернут. Медленный народ. Зато стреляют хорошо. И лица, когда палят, такие же мраморные, твердые, невозмутимые.

И говорят только по-своему. Это беда: не поймешь о чем. Может, мятеж хотят поднять? Австрияки тоже лопочут по-немецки, но бойкие, оживленные, у них шило в зад торчит; стараются с нашими солдатами заговорить, отношения завязать. Хотя сегодня ты тут — охрана, а завтра — ты в войсках Красной Армии, на фронтах, а послезавтра у тебя нет и быть не может. Вот и вся дружба. А тянется, тянется человек к человеку.

Злоказовцы — другие. Эти — своя братва. Кричат, матерятся, а то и сцепятся — из-за махорки, из-за горбушки. И порой ножи в ход пускали. Да только комендант с ножами разобрался быстро: одного — к забору и шлепнул, другого — домой, к мамке, отправил. Вон из революции. Парень пятился, выходя из ворот, плакал, размазывал слезы и сопли по щекам, с ужасом глядел на застреленного товарища. К порезанной руке портянку прижимал.

Злоказовцы несут вахту вокруг Дома. Это потяжелей, чем в Доме: на улице холодно, особенно ночами, да и опасней: кто угодно может прокрасться к забору и выстрелить, и бомбу кинуть.

Лямина никогда еще не ставили на внешнюю охрану. Он был — «внутренний». Домашний пес, шутил про себя.

Слишком много солдат. Все не вмещались в комнаты первого этажа. Авдеев расселил их в соседнем доме; раньше здесь жило семейство Попова. «Ты куда?» — «В дом Попова, на ночевку». — «А петух там у вас есть?» — «Зачем петух?» — «Чтоб будить». — «А я думал, чтоб — сварить!»

Фриц покостылял на кухню — заварить себе чаю. Лямин, понизив голос, крикнул ему в сутулую спину:

— Эй, и на меня завари!

Австрияк обернулся, и Лямин пальцами потер в воздухе, показал, что завари, значит, сложил пальцы в щепоть и вроде как чаю в стакан насыпал.

— Йа!

«Орем мы. Ее... разбудим».

Пашка спала в кладовой. И запиралась изнутри.

Он как-то ее спросил: тебе там не душно? не задохнешься, часом? — а она засмеялась: у меня воздуха в легких впрок запасено, я рыба глубоководная. И показала ему язык. Такой, озорной, обидной, она раньше нравилась ему. Теперь у него к ней осталось одно: боязнь, страх за нее. А на чем же ты спишь? Книжки штабелями сложила и сплю.

Он видел, что она врет, но как докажешь?

За окном захрипел мотор. Что в авто ночью делает Ляханов?

«Черт, может, проверяет. Может, Авдеев куда-то кого-то везти приказал. Но не царей. Все спят. Никто за ними не идет, будить их».

...— Эхэй! Микаил! Йа приносить тшай!

Он стяхнул морок. Принял из рук австрияка горячий стакан. Обжег ладони и сам своему детскому ожогу засмеялся.

— Спасибо, Фриц. Ты друг.

— Трук, трук, йа!

Фриц все время мерз и ходил даже в теплые дни в накинутаой на плечи шинели.

«Сколько мы на фронтах таких вот австрияков побили, немцев, венгров — не счастье. А нынче они наши друзья. Трук, трук. Мировая революция это, вот это что!»

Лямин поставил стакан с коричневым горячим чаем на пол, на плашку недавно крашенной половицы.

Мировая революция представилась ему в виде страшной и прекрасной, громадного роста бабы, с полной голой грудью, с широченными, в три обхвата, бедрами; она стояла, оперев одну ногу в один город, другую — в другой, ее рыжие огненные космы бешено и весело развевались в ночи, и она волосами освещала непроглядную ночь — поля, леса, города с заводскими трубами, снега в лощинах, железнодорожные пути, старые тракты; стояла над землей, глядела сверху на людские города и хохотала, и что-то задиристое, путеводное кричала, и от ее яростного крика города загорались, полыхали заводы и фабрики, трещали пулеметы, люди валились на снег площадей, осыпались, как песок или дряхлая известь со стены, царские дворцы, лопались жирные животы капиталистов, а баба все стояла, крепко оперев ноги в землю, опускала голову, и пламя с ее головы перекидывалось на материки, на дальние острова, на столицы и хижины.

«Мир хижинам, война дворцам... Вот точно так! Война — дворцам! Вся кровушка выпита из нас! Вы нами владели? Теперь вот тарелкой каши повладейте-ка! И та — вам не принадлежит!»

Мотор тарахтел, тарахтел, потом смолк. Лямин все-таки подошел к окну: а вдруг кто чужой мотор заводит? Рядом с автомобилем стоял Сережка Ляханов. Он увидел Лямина в окне и успокаивающе поднял к плечу кулак: я тут, все в порядке, штатная проверка. Лямин сжал кулак в ответ. Так друг другу потрясли кулаками, и Лямин вернулся на свое место под лестницей.

Чай ждал его, как пес, у его ног. Он наклонился за чаем, и тут за дверью в комнате царей раздался тонкий женский стон, и он дернулся, носком сапога задел чай, стакан опрокинулся, и чай вылился на пол. Он следил, как кипяток медленно течет по крашеной половице. «Вот и попил, и согрелся». Оглянулся: чем бы подтереть? — и рукой махнул: и так высохнет.

«Хорошо живем. Охраняем царя, хорошая служба. И денежку дают. И харч опять же. И...»

Перед глазами замельтешили, побежали конские морды, конские ноги. Уши услышали уже позабытый грохот. Снаряды летели, и пули свистели, и он — среди всего этого крошева и огня — тоже стрелял, а вокруг столбом вставала до неба страшная, оглушительная ругань, он в мире и в жизни своей никогда такого мата не слышал, как там, на войне.

«Война! Я ж воевал. Я что, туда опять хочу?! А ведь ушлют, ежели что. Вдруг что напортачу с царями этими. Или Красной Армии солдаты понадобятся. И все, каюк: Авдеев напишет приказ, меня рассчитают, погрузят в мотор... потом в вагон... и... Гражданская наша война большая... по всей России размахнулась... пошлют куда хотят... хоть в донские степи... хоть под Петроград... хоть под Иркутск... хоть...»

Медленно, шепотными стылыми губами, повторял себе: я же живой, я пока еще живой, потому что я тут, при царях. «Цари мою жизнь спасают, выходит так». Что, он должен быть им благодарен? Как это раньше, при царях, говорили: «премного благодарен»...

...Глаза слипались, и между ресницами мелькали, среди конских ноздрей и бешеных, угольных косящих глаз, женские глаза; они уходили и уводили, и он шел, а потом летел, и его губы целовали эти улетающие глаза, а женщина хорошо сидела в седле; да не женщина, а девочка, милый подросток, только у нее почему-то сильные руки деревенской бабы — она и сено может граблями ворошить, и лопатой весь огород вскопает — не охнет... и вот верхом скачет... Маша... Маша!.. я Пашка, Пашка я, а ты дурак!..

...— Ты! Солдат Лямин! Почему спишь на карауле?! Э-э-э-эй, Лямин, так твою растак!

Михаил махнул башкой, как конь, и выпрямился, выгнул спину и выпятил грудь. Винтовку — к ноге.

— Виноват, товарищ Мошкин!

— А-а-а-ах, ты...

К нему слишком близко, так, что пахло отвратным перегаром, подошел Александр Мошкин.

Товарищ Мошкин, правая рука Авдеева. То ли его заместитель, то ли его ученик. Да просто помощник; парень на подхвате. Авдеев уходит на ночь к себе домой, в Доме не ночует — вместо него тут торчит Мошкин. Он злоказовец и, видно, старый приятель Авдеева. Солдаты странным образом кличут его не Александр, а Гордей. Почему? «Повар Гордей, не отрави людей!» Мошкин поварешку отродясь в руках не держал. Вот бутылку — это да, это с удовольствием и всегда пожалуйста. Особенно на дармовщинку.

— Так-растак, Лямин! Повеселимся?! Али ночка не коротка?!

Лямин держал винтовку крепко.

«А что ежели попугать? Взять да и на него наставить».

«Он тебе потом такого наставит... не дури...»

— А у меня косушечка есть!

Вынул из кармана косушку. Поводил ею в воздухе.

— А еще у меня... вот что есть!

Вынул из другого большую сизую бутылку, в ней плескалось мутное, белесое.

— Глафирка гнала. Ох, слезу вышибает! Закуска-то как? Имеется? Али поварихой закусим? Ты не против? От задка кусочек...

У Михаила перед глазами помрачнело.

— Ты говори, да не заговаривайся.

— Сейчас народ разбужу! Эй! Народ!

Орал в полный голос. Из караульной высывались головы.

— А, повар Гордей.

— Мошкин это!

— Повар Гордей, не стражай людей...

Мошкин, держа в обеих руках водку и самогон, вращал бутылками не хуже, чем жонглер в цирке.

— Давай-давай, ленивцы! Отметим нынешнюю ночку!

— А што, Мошка, нынешняя ночка сильно отличаца от давешней?

На круглом веселом, лоснящемся лице Мошкина, скорее, женском личике, с мелкими, кукольными, противными чертами, для мужика негожими, нарисовался таинственный рисунок. Он прижал к губам бутылку с самогоном, горло бутылки — как прижимал бы палец: тс-с-с-с.

— Тиха, тиха... Я вам щас... отдам приказ. Живо в гостиную! И валяйте оттуда — несите роялю в караульную!

Солдаты, потягиваясь, выходили из караульной. Кто не спал, стоял на часах — винтовки на плечи вскинул, подошел ближе: что за шум, а драки нет?

— Слыхали! Быстро — роялю — в караульную! Не... обсуждать-ть-ть!

Оглянулся на застывшего Лямина.

— А ты глухой, што ли, Лямин?! Или ты против?! А-а-а-ах, ты против... приказа?!

— Я не против! — Лямин прислонил винтовку к перилам.

Солдат Исупов схватился за ручку двери в гостиную и рванул дверь на себя.

«Вот так бы взять... и рвануть дверь... ту...»

Царям приказано не запирается на ночь. Они выполняют приказ. Они — послушные. Они — овцы.

Солдаты, стуча сапогами, вваливались в гостиную, обступали большой рояль, похожий на застылое черное озеро, озеро под черным льдом, — раньше инструмент стоял в чехле, да холщовый чехол содрали безжалостно — на солдатские нужды, на портянки.

— Эка какое чудище!

— Дык она же чижелая, рояля эта.

— А нас-то много.

— Ты, Севка, заходи с тыла! С тыла!

— А игде у ее тыл?

— Давай, ребя, хватай! Подымай!

— Раз-два-взяли... еще раз взяли!

— Понесли-и-и-и-и-и!

Спускали рояль по лестнице, как чудовищный, для невероятного толстяка, черный гроб. Струны скорбно звенели. Толстые рояльные ножки ударялись о перила. Солдаты кричали, хохотали, шутили солено, жгуче.

— А ты всунь, всунь ей под крышку! И прищемит навек.

— Похоронную музыку умеешь играть?! Не умеешь?! Так научись.

— А точно, боком на бабу похожа! Так бы и прислонился.

— А кто из нас наилучший музыкант?

— Да вон Ленька Сухоруков! Он такую музыку игрывал в окопах!

— Лень, и чё, народ слухал?

— Слухал, ишо как! И денежку кидал!

— Ну ты арти-и-и-ист...

Кряхтя, задевая боками рояля о стены, шумно, с криками и прибаутками, наконец перетасили рояль в караульную комнату. Подкатали к окну.

— Ой, у ее и колесики... славно...

— Пошто к окну водрузил! Таперя к окну не подойдешь фортку отворить!

Мошкин качался в дверях, все обнимал, лелеял свои бутылки.

— Вот отлично, хорошо, люблю! Муз-з-зыку...

— Эй, тяни стаканы!

— А мы из горла. По кругу.

— Заразишься какой-нить заразой!

— А ты чё, больной? Не дыши на меня!

— Да ты ж не доктор, дышите, не дышите...

Федор Переверзев уже тащил гармошку. Уже перебирал пальцами по перламутровым пуговицам, растягивал меха.

Мошкин, шатаясь, добрался до рояля. Ему услужливо пододвинули стул. Он сел, проверил задом, крепко ли, хорошо ли сидит, покачался на стуле взад-вперед, даже попрыгал; откинул крышку, нежно, пьяно погладил клавиши.

— Ух ты, моя маленькая, роялюшка моя. Как давно я на тебе не играл. А вот щас поиграю на душеньке моей.

Обе руки на клавиши положил.

Михаил смотрел: черная-белая, черная-белая, и так торчат в рояльной пасти все эти зубы — то черные, то белые. В ночи — светятся. В караульной темно. Илюшка внес зажженную керосиновую лампу. В лампе, внутри, трепетал, умирал и рождался опять смутный, мерцающий сквозь всю закопченную жизнь, хилый огонь. Красный. И тут красный.

«И неужто будет играть? Брямкать по этим черным, белым зубам?»

Мошкин вжал пальцы в клавиши, а потом побежал ими по клавишам, и из рояля полезли, поползли, а потом и полетели упрямые звуки. Звуки жили отдельно, а Мошкин отдельно. Неужели он все это делал своими руками?

«И где только научился?»

Мошкин запел мощно, пьяно, фальшиво и все-таки красиво.

— Ах, зачем эта ночь! Та-а-ак была хороша... Не болела бы грудь! Не страдала б душа!

Солдаты знали эту песню. Подхватили.

— Полюбил я ийо-о-о-о... Полюбил горячо-о-о-о! А она на любовь... смотрит так холодно...

Лямин крепко почесал себе грудь поверх гимнастерки. «Фу, пахну, стирать одежду надо, в баню надо. Когда еще поведут?»

В стекло часто, мотаясь под теплым сильным ветром, била усыпанная крупными зелеными почками ветка.

«Будто сердце бьется».

— И никто не вида-а-ал... как я в церкви стоял!.. Прислонившись к стене-е-е... безутешно... рыда-а-а-ал!

— Слышьте, ребята! Кончайте вы это уныние! Оно же и смертный грех, однако! Давайте-ка наши родненькие припевочки! Эх-х-х-х!

Илюшка нес стаканы, вставленные один в другой, высокой горкой. Раздавал стрелкам. Солдаты брали стаканы, вертели, переворачивали, нюхали.

Обе бутылки, притащенные Мошкиным, стояли на рояльной крышке. Мошкин встал, качнулся, но удержался на ногах; зубами открыл одну бутылку, вторую, ему подносили стаканы, и он наливал из обеих рук. И ни капли на пол не сронил, такой аккуратный.

Солдат Переверзев закрутил, завертел гармошку, растянул, сжал, гармошка издала пронзительный визг, потом зачастил, забегал пальцами по пуговицам и сам зачастил голосом, выталкивая веселые жгучие слова из шербатого рта:

Ты куда мене повел,
Такую косолапую?!
Я повел тебе в сарай,
Немного поцарапаю!

Частушку подхватил, вернее, вырвал изо рта у Федора покрасневший после глотка водки Илюшка. Он подбоченился, вцепился себе в ремень, выставил вперед ногу в гармошкой сморщенном сапоге:

Эх, яблочко,
Ищо зелено!

Мне не надо царя,
Надо Ленина!

Стакан в руке у Михаила обжигал лютым холодом, запотел, будто стоял на льду или в погребу, и вот его вытащили и втиснули ему в кулак. Он пил, глотал, самогон дохнул в него чем-то былым, забытым — домашним. Пьянками, пирушками из детства — когда разговлялись на Пасху, когда после смертей и поминок друзья притекали к отцу, стукали четвертями об стол, рассаживались, и сидели долго, и пили, и говорили песни, и быками ревели: плакали так.

Федор кинул Лямину через веселые, теплые кегли голов, юно и бодро подбритых, косматых, седых, лысых:

— А ты чё не поешь? Али не наш, не русский?!

Самогонка хватила обухом по голове. Лямин поставил стакан на рояль, сделал ногами немислимое коленце — подпрыгнул и ножницами ноги в воздухе скрестил: раз-два! — а когда приземлился, колени согнул, присел — и так пошел вприсядку, выбрасывая ноги в сапогах в разные стороны, и уже кого-то носком сапога больно ткнул, и на него выругались и засмеялись.

Гогочут, огрызаются, головами крутят; вот уже все хотят петь, вот уже все горланят вперепой, кто во что горазд, и Мошкин зажимает уши руками и визгливо кричит:

— Ти-ха!.. Люди-то ведь спят!..

— Люди? — Ванька Логинов шагнул к Мошкину. Протянул руку за ополовиненной бутылью. Без всякого стакана, из горла, мощно хлебнул. — Это они — люди?! Сосали из нас века соки, силушку... землю всю — себе под пузы подгрести!.. пировали, танцевали, пока мы на пашнях, да в забоях, да на мануфактурах корчились... а ты: лю-у-уди!.. Сказал тоже.

И сразу, без перерыва, оглушительно, хрипло грянул, растягивая в отчаянной улыбке рот без верхнего резца — в драке выбили:

Эх, яблочко,
Да семя дулею!
Попляши-ка ты, наш царь,
Да под пулею!

Переверзев так терзал гармонь, что Лямин испугался: как бы не разорвал надвое.

«Она там спит. Она... уже не спит».

— Ты... — коснулся плеча Федора. — Потихе, а...

— А што, ушки болят?!

Гармонь орала, взвизгивала, и вздыхала, и плакала, как человек.

Всюду — на полу, на полках, на черном льду рояля — окурки, папиросы, самокрутки, стаканы, портянки, снятые от жары гимнастерки и даже — среди всего этого — впопыхах сдернутый с шеи вместе с рубахой чей-то, на грубом веревочном гайтане, почернелый нательный крест.

* * *

...Аликс стояла у зеркала, когда вошел комендант Авдеев.

Он был противен ей. Впрочем, как и они все, тюремщики. Но Авдеев был противен особенно. Ей хотелось плюнуть в его харю, и она тут же одергивала себя, упрекала в бесчувствии и злобе, тут же, на ходу, где заставало ее это чувство — в кори-

доре, в столовой, во дворе на скучной бледной прогулке, — пыталась молиться, но молитва выходила плохо, застревала не только в горле — во лбу, в сердце. Больная, длинная заноза. И мучит, и колет, и вытащить нельзя. И теперь уже никто не вытаскивает.

Ее Ники провел бессонную ночь из-за криков пьяной солдатни; он лежал на кровати, уже одетый. Лег в штанах и гимнастерке поверх нищего, в дырах, покрывала. Это не было покрывало инженера Ипатьева; комендант откуда-то распорядился доставить его вместе с огромными, величиной с добрую шубу, подушками, набитыми смрадным старым пером. Может быть, из блошиной пролетарской ночлежки?

Аликс дернула углом рта, и ее лицо стало напоминать ожившую белую венецианскую маску.

Она хотела поздороваться с этим человеком — и не поздоровалась. Не могла.

Стала совсем плохой христианкой, никудышной.

И Авдеев, тоже не здороваясь, торжествуя, сказал:

— Ну как почивали... граждане? — через шматок молчания добавил: — Арестованные.

— Благодарю. Ужасно, — подал голос с кровати царь.

И царь тоже не мог говорить с Авдеевым. Мало того, что он их унизил по приезду — он продолжает унижать их и сейчас, и всякий день! Царь напряженно думал, чем и как он, по рождению и по праву царь, мог бы унижить это красное отребье, бывшего слесаря. Думал, кривил рот, по лбу его текли и извивались мучительные морщины, но так ничего и не придумывалось ему этакое, чтобы Авдееву вдруг стало больно. А потом он, так же как Аликс, останавливал себя и упрекал: «Как можно! Господь создал всех, всех людей одинаковыми! А эти люди, они просто заблудились! Их просто настигали дикими идеями...»

— В чем ужас-то?

Николай скинул с кровати обмотанные портянками ноги на пол. Долго натягивал сапоги. Потом медленно, очень медленно поднял лицо к коменданту. Лицо царя, прежде такое приветливое и сияющее, все неистово заросло бородой и напоминало грозную тучу.

— Ваши, — он подчеркнул это, — ваши солдаты всю ночь буянили. Что они праздновали? Свадьбу? Крестины?

Авдеев уже нагло смеялся.

— Скажите, а вы, гражданин полковник, никогда, в армейскую свою бытность, не веселились, не гуляли, не... кутили? Или вы хотите сказать, вы никогда в жизни не пили водки? С мужчинами такое бывает.

Царица так и стояла около зеркала. Вертела в руках пузырьки с духами «Shypre» Франсуа Коти. Потом поставила духи на зеркальную тумбу, они зелено, алмазно отразились в зеркале; схватила кисти своего шелкового капота и стала нервно щипать их.

— Почему же нет. Я веселился. Но в тех местах, где рядом за стеной не спали.

— Ничего! Ведь перетерпели же? — весело крикнул Авдеев.

Авдеев понимал, что издевается над царями. И это доставляло ему ни с чем не сравнимую радость, даже счастье. Слесарь, он теперь распоряжался царской семьей! Вот как вознесла его жизнь! Да каждый день с царями — как день рождения; какое удовольствие их топтать, видеть, как глаза бывшей императрицы темнеют от ярости!

Царица бросила вертеть шелковые кисти халата. Сказала себе: Аликс, успокойся. Это всего лишь человек; и ты всего лишь человек. Вас жизнь поставила на одну доску. Но ведь и одесную Христа висел разбойник, и ошуюю висел; и один Его поносил и проклинал, а другой смиренно, нежно попросил его: «Помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем!» — и Он ответил живой и любящей душе: «Ныне же будешь со Мною в Раю».

...А этот, этот — неужели с тобою в Раю будет?..

...Боже, не надо мне такого соседства... и Рая тогда — не надо...

Сделала шаг к Авдееву. Очень важный, трудный шаг.

— Я бы хотела вас попросить.

— Ну?

Авдеев опять улыбался. Он не мог скрыть радости и удовольствия.

— Я бы хотела, чтобы рояль... которую, не знаю по чьему приказу, сегодня ночью перенесли в караульную комнату... была возвращена на прежнее место. В гостиную. Моя дочь Мария... она любит играть на рояли. И другие дети тоже. Пожалуйста! Прошу вас!

Авдеев прищурился. Все, кто побывал в Москве, рассказывали, что их вождь, Ленин, любит прищуриваться; и теперь Авдеев пытался копировать Ленина. И все время щурился тоже. Как будто плохо видел.

— Идите вы к черту!

Аликс изо всех сил попыталась не отшатнуться.

— Господь вам судья.

Она тяжело, через силу подняла тяжелую, растолстевшую руку и медленно, скорбно перекрестила коменданта. Комендант плюнул царице под ноги, победно поглядел на царя, на царицу и вышел. Нарочно громко хлопнул дверь. Аликс растерянно обернулась к мужу.

— Зачем тогда он приходил?

— Ты так и не поняла? — Николай смотрел на жену печально, еще немного — и глаза его превратятся в круглые, полные невылитых слез, огромные, мрачно-светлые очи византийской иконы. — Поглумиться.

— Но ведь глум... — Она искала русское слово. — Глум... насмешка... издевательство... это... ему же будет хуже, его же жалко! Ему все это вернется... все, все...

Жена уже плакала. Муж подошел к ней, взял за плечи и стал покрывать влажное, дряблое, нежное, востроносое лицо мелкими, быстрыми поцелуями.

— Да, да. Конечно. Вернется. И его жалко. Ты права. За него надо молиться. Ты будешь за него молиться? Будешь?

— Буду... Буду...

Она всхлипывала, как набедокурившая девочка. Крепко обняла его за шею. Шея царя стала слабая, он весь был истощен, слаб и хил, еле стоял на ногах. А ему всего пятьдесят лет. А ей? А ей — три тысячи.

— Мальчик мой, — сказала царица и сильно, больно притиснула его голову к своему седому виску, к зарезанной щеке.

* * *

...Мошкин поджидал Авдеева в комендантской комнате. Авдеев вошел со слишком радостным, неудержимо радостным лицом.

— Ночное дежурство прошло спокойно, товарищ...

— Да уж понял! — Авдеев уселся за комендантский стол. Озирал его. Чувствовал себя начальником. И правда — чуточку — царем. — Приберите как следует караульную!

— Приберем.

— Пустые бутылки повыкиньте! Подметите. Баб заставьте. Пашку вашу и эту ихнюю девицу, Нюту.

— Я сам прослежу.

— Да, и вот еще... Слушай-ка, что расскажу! Забавное дельце. Царьки наши просили меня услужить им.

— У... служить?.. это как...

— А так! Приказы задумали раздавать! Старуха прицепилась ко мне, как баный лист: перенеси да перенеси рояль опять в гостиную. Дочь ее, видите ли, будет на той рояли брякать! Чай, перебьется дочь!

— Перебьется, товарищ...

— И что ты думаешь, я ей ответил?

Мошкин сделал личико масляное, хитрющее.

— Думаю, вы ответили как надо, товарищ комендант!

— Точнехонько думаешь. Я их — к черту послал!

У Мошкина округлились глаза.

— Как? Царей — к черту? У-ха-ха-ха!

Выходка Авдеева ему понравилась; до того понравилась, что он утирал глаза, и махал рукой, и тряс головой, и опять заливался, заходилась смехом:

— О-ха-ха-ха, ха, ха! К черту! К черту, это же надо, а!

— Красноармеец Мошкин, молчать!

Мошкин замолк.

— Раскочегарился. Где охранник Украинцев?

— На посту.

— Где именно?

— У забора. Уличная охрана.

— Позови его ко мне. Дело к нему есть.

— Может, Лямина позвать? Вот Лямин — дельный. Он вам любое дело провернет.

Авдеев задумался.

— Нет. Лямина не надо. Украинцев попроворней.

...У стрелка Украинцева были кривые, торчащие в разные стороны передние зубы; так выросли, никто не виноват, и такие уродливые, хоть в пьяной драке выбивай; а у его закадычного дружка, стрелка Арсения Васильева, из далекого города Хабаровска родом, были ужасно выпученные глаза. Глаза выкатывались из орбит, как два крутых яйца, лезли, выпирали, и Васильев ими чудовишно, ради шутки, вращал, пугая и веселя солдат. Все его так и звали — Лупоглазый.

А Украинцева — Кривоzubый. Два сапога пара.

— Ты вот что, Криво... Украинцев! — Авдеев долго смотрел на бойца, потом крепко ударил его по плечу, и Украинцев слегка подогнул ноги. — Поручение к тебе. Интересного свойства. Получится, не получится у тебя — не знаю. Но вперед! А вдруг?

— Что за поручение, товарищ комендант?

Из-за кривых зубов Украинцев шепелявил, и получалось что-то вроде: «Сто за полусение, товарищ комендант».

— Деликатное же, говорю. Подкатись шаром к царю. Подружись с ним!

— Подружиться?.. Ого...

— Да, да-да! Мне это надо. Не только мне, как ты понимаешь. Войди в доверие. Кури с ним. Болтай. Сиди напротив. Я тебя для начала поставлю у его дверей на караул.

— Опять?.. Но вы же отменили караул на втором этаже, товарищ Авдеев!

— Отменил, да. А теперь опять назначаю.

— И о чем... мне с царем-то... балясничать?

— Расспрашивай его. О разных разностях. О том, кто ему пишет. По ком он тоскует. О чем думает. Да, да, не пялься на меня так изумленно!

— Но я простой мужик...

— Да. Ты простой. И это хорошо. Пусть царь говорит с простым мужиком. Тебе больше доверия. И запоминай, хорошенько запоминай, что он тебе будет вещать.

— Зачем? Вы скажите, а то я чё-то не понял ничё.

— Нам надо, — Авдеев щелкнул пальцами, — улики добыть. Ну, что они бежать замышляют.

— А, понял.

— А твой дружок? Лупоглазый?

— Что — Лупоглазый?

— Он сообразительный?

— Да вроде не блаженный.

— Отлично. И его подключим. Ты ему все тихонько только разъясни. Если охрана узнает о нашей разведке — до царя дойдет все очень быстро.

Авдеев откинулся на спинку стула. Мошкин сидел у окна. Напевал тихо и злобно:

— Пускай в гостиной... муж простодушный... жену гулящую... под утро ждет... Любковник знает: она, послушная... смеясь и пла-а-ача!.. к нему придет...

Встрял в разговор:

— Вот это верно. Это верно. Надо с царя начать. Его прощупать.

— Товарищ Мошкин! Одобряете?

— Еще как!

Мошкин уже где-то успел раздобыть на опохмел. Щеки порозовели, носик задорно торчал. Кукольная его мордочка чуть опухла после попойки, но глаза уже блестели, зыркали остро, внимательно.

— А может, ты за это дело возьмешься?

— Не-ет, товарищ Авдеев. Лучше я — при вас!

— При мне, ну да, кто-то же должен быть при мне... да...

Тоскливо, косо посмотрел.

— У тебя глоточка нет?

Оглянулся на Украинцева.

— Солдат Украинцев! Все поняли?

— Все! Разрешите идти?

— Идите!

Кривоzubый шарахнулся за порог.

— Есть глоточек, товарищ комендант. Извольте.

Мошкин вытащил из кармана косушку, как ящерицу за хвост.

Авдеев хлебнул и закрыл глаза.

* * *

Они сидели втроем на лавке во дворе: царь, Боткин и солдат Арсений Васильев, Лупоглазый. Вечерело. Странная, хитрая, как дикий зверь в тайге, уральская весна. То оттаает на пригорках и почки готовы вот-вот взорваться, то опять завернут холода и на робко вылезшую в оврагах и на проталинах травку посыплет из туч отчаянный, вражеский снег.

Арсений курил «козью ногу». Свернул ее из старой газеты. Царь близоруко вглядывался. Он делал на газету собачью, охотничью стойку.

— Простите, товарищ Арсений, а у вас осталась газета?

— Какая? — Зенки Васильева еще более округлились, выкатились почти наружу, на щеки.

— Ну, вот эта. — Царь указал на самокрутку. — Ведь вы же кусок только оторвали. А газета, газета-то сама осталась?

— На черта вам газета, гражданин Романов? — Лупоглазый искуривал «козью ногу» быстро, будто жадно обцеловывал или голодно отгрызал от нее клочки, как белка от шишки. — Ить она рваная.

— Да вот... почитать хочу. Новости.

Лупоглазый кинул окурочек на землю и придавил сапогом.

— Так ить она старая.

— Старая? А за какое число?

— За невесть какое уже. Прошло, проехало.

Николай судорожно вздохнул.

— Понимаете, мне здесь не носят газет. А в Тобольске носили. Мальчишка с почты всякий раз приносил.

— Ну, здесь у нас ить такого парнишки нету.

Табачно, горячо выдохнул. Боткин в тоске чертил на дворовой земле неясный рисунок весенней, с надутыми почками, веткой.

Лупоглазый сощурился и задал, как ему казалось, лукавый и умный вопрос:

— Газеты-то газетами, а черта ли в них. А вот письма-то вы ить получаете. А хто вам пишет послания? Цари, короли? Жалко им вас?

Николай опустил голову и смотрел, как доктор возит веткой по свежей мокрой земле, перемешанной с песком и мелкими камнями.

— Жалко.

— А вы — жалитесь, да?

— Нет. Не жалуюсь. Господь заповедал принимать смиренно, что выпадает на долю.

— Доля, доля! — Лупоглазый потер переносье. — Доля, судьба! А вот хто мне разъяснит, что ж такое судьба! И слово-то какое, не вразумлю никак. Суть-ба. Суть нашей жисти, или как? И почему говорят: у каждого своя судьба? Жисть, это я понимаю. Живешь-живешь и в одночасье помрешь. Живет кошка, живет и собака. И волк в тайге — живет. А — судьба? С какого боку к ней подобраться?

Боткин бросил рисовать на земле скорбный иероглиф. Царь и доктор переглянулись.

— Не объяснишь... — беззвучно шепнули губы Боткина.

— Судьба, — раздумчиво повторил царь. И, словно его гнали, подгоняли плетьюми, батогами, будто бежал он, уворачиваясь от ударов, бежал, и задыхался, и чуть не плакал, и пытался крикнуть, докричаться, достучаться, быстро заговорил:

— Да ведь судьба — это и есть Бог! Бог всем нам дает — выбор! И вы думаете, выбор сделать просто?! Бывает, человек и ошибается! И тогда он... кается... просит прощения у Бога! Просит: вразуми, Господи! И я... исправлюсь... А — не побегу вместе с толпами кого-то убить! Вот вы все разрушили! И хотите наново построить! А вы знаете, какую вы себе судьбу выбрали?! Знаете, чью судьбу?!

Встал с лавки. Боткин впервые видел царя таким: одновременно и смиренным, и яростным.

— Это и есть дьявол. Он всегда рядом с Богом. Дьявол с Богом борются... и люди друг с другом борются, думая, что это они друг с другом воюют!.. а на самом деле...

Боткин тоже встал. Обхватил рукой царя чуть выше кисти, за обшлаг кителя.

— Ваше величество, успокойтесь. Не стоят они ваших...

Царь не слушал, не слышал.

— На самом деле — в одних дьявол, в других Бог. Бог с дьяволом воюет! А не люди! Вот и ваши все дела... могут умереть... однажды... вся ваша революция!.. все, за что вы боролись... за что проливаете свою кровь и кровь братьев... ваших...

Уже дрожал, мелко трясся. Из окон, любопытствуя, выглядывали солдаты вечернего караула. Боткин торопливо снял с себя плащ и накинул царю на жесткие, деревянно торчащие плечи.

— Бог — вот основа жизни! А вы Бога...

Закашлялся. И кашлял долго, с надрывом. Боткин хлопал его по спине. Лупоглазый сидел как каменный.

Царь выдохнул и утер рот кулаком.

— Убили...

Доктор подхватил царя под мышки.

— Идемте домой, ваше величество. Бросьте. Не стоят они все ваших... проповедей...

Повел царя, как больного. Осторожно, медленно. Лупоглазый смотрел им вслед. Просунул пальцы под фуражку и почесал затылок. Чесал долго. Потом опустил руку и выругался.

Одиноко, сам себе, сказал, зло глядя на опустелую лавку:

— Ить как он завернул. Нас, дескать, Бог покарает. За революцию. За то, что мы, мать-перемать, мы, народ!.. лучшей жисти захотели. А он про Бога: Бог, Бо-о-о-ог! Ну, и кого Он покарал? Вас же и покарал. Вот так оно!

...В окне стоял Лямин. Он не столько слышал, сколько видел все. Человеческие фигурки двигались, махали руками, кричали, кутались в плащи, курили, топтали сапогами окурки, выпускали изо ртов то, что выпускать безнаказанно нельзя.

Царь шел и трясся.

— Вы не заболели, ваше величество? У вас не лихорадка? Надо беречься инфлюэнцы... здесь Урал, весенние холода...

Внезапно царь обнял Боткина и крепко, крепко прижался к нему.

— Простите меня, Евгений Сергеич. Я сорвался. Я не должен был себе этого позволять... с ними. Ведь это мой народ! Мои солдаты! Мои люди! И они меня предали. Они — отреклись от меня! Это не я отрекся: они отреклись!

— Успокойтесь, успокойтесь...

— Меня утешает то... — Зуб на зуб у царя не попадал. — Что Спаситель... тоже был предан... однако я ни в коем случае, никогда!.. не сравню себя с Ним... Но каждый из нас, слышите, каждый!.. должен держать в сердце Его путь... и по возможности — повторить его...

— Сейчас горячего чаю, ах, жаль, лимона нет, варенья нет...

— И если мы сейчас Его Голгофский путь повторим — я не удивлюсь, слышите меня, нисколько, нисколько...

— Слышу, ваше величество, как не слышать...

Вел по лестнице так же медленно, и царь с трудом одолевал ступени. Поднялись. Боткин провел царя в спальню. Царица метнулась к нему.

— Что такое! Досиделись во дворе! На нем же лица нет, доктор! Что случилось?!

— Ничего особенного, ваше величество. Просто на дворе похолодало. Вечерний ветерок. А простуда застарелая. Ведь его величество кашляет уже давно? Давно. Но я, как мог, тот кашель снял. А нынче... да там разговор такой вышел, с охраной...

— С охраной?!

Николай уже лег. Аликс сама стаскивала с него сапоги, разматывала портянки.

— С охранником одним. Знаете, такой лупоглазый. Он стал расспрашивать его величество о письмах, что он получает... и сам пишет. А его величество свел разговор на Бога... и — переволновался, это бывает...

Крупные слезы старухи быстро капали на царские сапоги и скатывались на плахи пола.

— Аликс, душка, — тихо и медленно, стуча зубами, сказал царь. — Я умею молчать. Я долго молчал. Я раньше беседовал и правда с принцами, с королями. А теперь я беседую с Кривоzubым... с Лупоглазым. Это мои собеседники. На колченогой лавке... в тюремном дворе...

— Молчи! Выпей, прошу тебя!

Она держала его голову. Николай привстал с подушки и выглотал из мензурки самодельную микстуру доктора Боткина.

— И я беседу с ними... про замазанные окна, про то, почему на рынке сушеный чебак... про то, где покупают хороший табак... и почему рояль перенесли в караульную... и про то, почему мне не приносят свежих газет... и про наши жуткие, дырявые одеяла... и про мышей, они часто приходят в кухню и даже пробираются к нам в спальни... и про клопов, как удачно перед отъездом инженера их поморили... Аликс! Я — про клопов! Аликс...

— Сейчас он успокоится, — синими губами вытиснул выдох Боткин.

Царица наваливала на мужа одеяла, какие под руку подвернулись; распахнула шкаф и вытащила свою шубу; и тоже на него бросила. Он переставал стучать зубами. Взгляд прояснялся. Брови подвинулись вверх, размахнулись седыми дугами под высоким, в морщинах, лбом.

— Ты похож на святителя Николая, — прошептала царица.

И погладила царя по руке, лежавшей поверх серого, мышинового, вытертого одеяла.

— Ну, я пойду? — так же шепотом спросил Боткин.

— Идите, Евгений Сергеевич. И... вот что...

Старуха поманила доктора пальцем. Он нагнулся низко, они едва не столкнулись лбами.

— Держите язык за зубами.

— О да. Да.

...Поздно вечером, уже около полуночи, царь и царица, сидя за столом в осиротевшей, без рояля, гостиной, открыли огромную, ветхую, в коричневом кожаном переплете с потертым тиснением, пахнущую воском и ладаном книгу. Ветхий и Новый Завет под одним переплетом; книгу принесла царице девица Демидова, а ей дала эта их красная повариха, Прасковья Бочарова, а Бочаровой дал неизвестно кто — и неизвестно на сколько: попользоваться, на время, или навсегда подарили — они не знали. Книгу Аликс страстно желала оставить себе: их родовую, еще Александра Второго, Библию у них украли в Тобольске, когда они отправились в церковь на литургию к архиепископу Гермогену. Пришли, теплые, светлые, расслабленные. Аликс хватилась книги в тот же вечер. И кому из солдат она понадобилась? Они все теперь красные, и Бог для них — мусор: вымести из избы, забыть навек.

Библия, книга книг, вот она. Старуха нежно гладила телячий древний переплет.

— Давай раскрою наугад, — прошептала Николаю.

Раскрыла. По обыкновению, закрыла глаза и слепо повела указательным пальцем по странице.

— Ну что там?

— Седьмая строчка сверху.

— Читай... ты...

Николай набрал в грудь воздуху и радостно прочитал:

— Блажени алчущие и жаждущие правды, яко тии насытятся.

Счастье высветилось и на оплывшем лице царицы. Оно даже стало моложе, глаже. И глаза — глубже и яснее. Будто умылась колодезной водой.

— Читай все блаженства, — тихо сказала она.

— А около гостиной сейчас ведь караула нет?

— Нет, — Александра Федоровна задумалась. — Хотя все может быть. Мы это узнаем, если выглянем за дверь.

Царь, с тем же счастливым выражением лица, будто сидел на лужайке в царскосельском парке, беспечно махнул рукой.

— Они только этого и ждут.

— А ты правда прощаешь им? Ну, как Христос нам заповедал?

Он тяжело вздохнул.

— Правда.

— Начинай.

— Блажени нищии духом, яко тех... есть Царствие Небесное. Блажени плачущии, яко тии утешатся...

Они попеременно читали главные слова их жизни, и жизни каждого, и даже жиней этих, кто, крича и глумясь или молча, ненавидяще, их сторожил.

И ведь все они, вся охрана дома инженера Ипатьева, все солдаты, до единого, все родились и воспитались в простых русских семьях: крестьянских, рабочих, разночинских, мастеровых, — и в тех семьях, в тех домах на стене в красном углу всегда висела икона, и Святая Библия лежала на видном месте, на самой верхней полке этажерки или дряхлого, сто раз чиненного комода, и ее читали в двенадцатые праздники, и по ней молились, и у изголовья покойника читали псалмы и кафизмы из Псалтыри, и по воскресеньям — с детьми — по пыльной или зимней хрусткой дороге — да непременно — в храм, и как же случилось так, что все эти дети, все эти люди, выросшие с Богом и под Богом, резво, кроваво втоптали Его в грязь?

— Блажени кротцыи, яко тии наследят землю.

— Блажени... блажени...

...Мария лежала в постели, свернувшись в комочек, и думала: вот так белки сворачиваются в дупле, когда зима. Она не слышала, как читают Евангелие родители в гостиной. Она знала. Она часто видела то, чего нельзя увидеть глазами; и ее это не пугало, она понимала это в себе, лелеяла, никому не говорила. Даже мамá. А что мамá? Она может огорчиться. А сейчас мамá нельзя огорчать. Сейчас им всем тяжело, а мамá — тяжелей всех.

Били часы. Мария загибала пальцы. Двенадцать. Полночь. Слеза вытекла из угла глаза быстро, стыдливо, стремительно и затекла в складку ужасной, громадной и плоской, как плаха, чужой вонючей подушки.

* * *

...Медленно тянулись дни. В темпе Adagio. Или даже Largo. Или даже еще медленнее — Grave. Царь сидел за столом и медленно, трудно писал дневник. Две-три фразы — а сгибался над ними целый час. И ведь такие простые слова. Он не любил много слов. Он ведь военный: шагом марш! И маршируют солдаты, а полковник стоит и глядит на них. На тех, кто России служит.

А сейчас солдаты — кому служат? Красным владыкам?

Он раздумывал, и жизнь становилась медленным, тоскливым размышлением. А мысли вдруг превращались в медленных змей. Подползали к ногам, взбирались на колени, ползли по груди, обвивали шею. Душили. Он рвал их с шеи слабыми руками. Руки и вправду ослабели — здесь, в Ипатьевском доме, не было ни турника, ни гантелей; мышцы одрябли, и единственное, чем он спасал тело, это английская гимнастика по утрам. Вставал с постели, если была в Доме вода, принимал холодную ванну, крепко растирался — ложился на пол — и начинал отжимания. От двадцати доходил до ста. Поднимался с пола весь мокрый и красный, как после бани. Аликс стаскивала с него исподнее и обтирала его сухим полотенцем.

«Аликс, я агнец», — однажды сказал он ей. Хотел смешливо, а вышло серьезно. «А я тогда овечка?» — тоже серьезно спросила жена. «Не бойся, нас не зарежут и не сварят. А что если Лупоглазый прав, и мы действительно заговорщики? Я же написал Элле, что мы ждем любых хороших новостей из Петрограда. Любых! Это слово можно истолковать по-разному». Аликс напяливала на него свежую сорочку, целовала в затылок. «Я была бы только рада, если бы нас освободили.

Я верю, есть офицеры... может, они ходят рядом... Но как представлю Мурманск, и английские корабли, и льды Баренцева моря, и...» — «Что?» — «Я не хочу уезжать из России. Не могу. Все главное происходит здесь».

Набросив полотенце ему на шею, она садилась в спальне в кресло-качалку. Очень любила она это кресло; мерно и тихо качаясь, она впадала в странное и блаженное равнодушие. Ей в кресле-качалке было все равно. Она скользила зрачками по замазанным известью окнам и все считала их: раз, два, три, четыре окна. Четыре стороны света. Четыре времени года. Четыре стороны креста. А православный крест восьмиконечный. Почему восемь? Перевернутая восьмерка — бесконечность. Восемь — это, наверное, семь таинств и восьмое, самое главное — Воскресение.

Четыре окна, белая мгла. Серый, мутный туман. Светлый мрак. Живая смерть. Смерть при жизни. Она такая спокойная, мутная, белесая. Она — малярная кисть, обмакнутая в ведро с известкой. Кресло, качайся, я еще раз толкну тебя ногами. Под ногами — деревянные салазочки, кресло качается, а ноги на салазочках стоят; очень удобно. Не затекают. Браво тому, кто придумал качалку. Чувствуешь себя в колыбели. Она забыла себя ребенком. Какой она была ребенок? Бойкий? Угрюмый? Послушный? Строптивый? Не помнит. Качалка, туман и грезы. Она мечтает. Сегодня — опять мечтает. О чем? Голова обвязана мокрым платком. Голова опять болит, но это теперь все равно. Она будет болеть всегда. Надо полюбить свое страдание, тогда оно перестанет быть страданием.

Раз, два, три, четыре окна. Четыре сестры, ее дочери. И пятый — ее мальчик. Он болен гемофилией, она подарила ему его смерть. Все врачи, и Боткин тоже, говорят, что мальчик не доживет и до шестнадцати. Мигрень, она прокалывает насквозь виски. Болит поясница, стреляет в коленные чашечки, и черный осьминог из глубины всплывает, и поднимается к голове, и плотно обхватывает ее щупальцами, и присасывается, и тянет из нее жизнь. Качалка качается, и она вместе с ней, и она уже не боится сидящего на голове осьминога. А он вовсе не черный, а красный. Он насосался ее крови. Сколько крови она промакивала стерильной ватой, когда ухаживала за ранеными! Сколько крови — в операционной — подтирала мокрой тряпкой! А потом опять тщательно мыла, терла руки под мраморным больничным ручкомойником и вставляла к операционному столу. И снова текла эта кровь. Река крови. Она властно приучила себя не терять чувств при виде крови. Серdito говорила себе: это просто кровь, и в тебе она течет — точно такая же!

Качаясь, она берет в руки книгу. Житие преподобного Серафима Саровского. Он все сказал ей. Все предсказал. Так что волноваться? Назначенное да сбудется. Качайся и читай вслух, у тебя это хорошо получается. Ты даже писать умеешь по-церковнославянски; и хоть это трудно, невозможно, но ты делаешь это. Ты всегда любила делать невозможное; делать то, что выше твоих сил. А теперь силы растаяли. Они исчезли в белом тумане.

Белый туман. Вот и кончилась святая книга. А теперь что мы будем делать, мигрень? Мигрень, мы будем вышивать. А вот и пяльцы. Она на Пасху начала новое рукоделие. Синяя птица, и в хвосте — золотые глаза, и на голове корона из перьев; это павлин, он сидит, вцепился в ветку, а на ветке расцветает большая алая роза. Вышивает гладью, и плотно, густо ложатся стежки. Нить превращается в царскую птицу. Нет, ну его, вышиванье! Глаза утомляются и болят. Мигрень, давай-ка лучше порисуем! Не вставая с качалки, взяв с тумбочки маленький рисунок. Он не закончен. На нем — голова ее сына.

Их сторожат. Но все равно не устерегут. Она грезит о побеге. Ей чудятся кони, храпящие у крыльца; и возок; и офицеры в плащах. Охрана выбегает и палит им вслед, да поздно — кони скачут во весь опор. Они думают, они такие простые! Наивные!

О нет, они очень умные, мудрые. Они все тщательно продумают. Никто ничего никогда не узнает. Соберутся, сложат вещи. Перекрестятся, когда услышат свист за окном.

Они говорят, она слышала: царь на царя не похож, вроде как наш, мужик, солдат бородатый, даром что полковник. И рожа такая простецкая. И бороду не подстригает. А про нее так шепчут: злая, жестокая! Не злая и не жестокая, а строгая. Дисциплины нет. Все развалили. И армию тоже. Разве это солдаты? Это же не солдаты. Это слюнтая. Курят, пьют, сквернословят. Солдатушки, бравы ребяташки, где же ваша слава?

Качалась. Напевала. Прижимала руку ко лбу и стонала от боли.

Наша слава... русская держава... вот где наша... слава...

Друг Григорий, приди, спаси, защити. Покачай меня в колыбели. Утешь сына моего. Избави от боли, страданий, печали и вздыханий, но даруй жизнь бесконечную. Это моя молитва? Я сама сочинила? Нет, это вечная молитва. Так все русские люди молятся. И я русская. Я всегда была русской. Я русская, и я люблю Россию, и вот она горит, горит ее север, горит юг, пылает запад, в огне восток, а я все равно люблю ее. Все равно. <...>

* * *

...Глубокой ночью в Тобольске, в Губернаторском доме, творилось священнодействие. А впрочем, обычнейшее из обычных дел. Женщины шили.

Со стороны — распахни дверь — сидят девицы и шьют; но отчего посреди ночи? А им так захотелось. Днем выспались.

Лифы и буфы. Струятся складки. То холстина, то шерсть, то шелк. А вот даже бархат подвертывается под руку. Сам так и лезет. Пришей меня!

А если охрана спросит, что они тут делают? Можно быстро ответить: мы хотим завтра одеться во все новое, нам старое надоело. А можно и так: Насте приснился сон, а он вещий, ведь нынче ночь с четверга на пятницу; и сон такой: мы все сидим и шьем. И иголки мелькают в руках. Узкие стальные молнии во мгле.

Какая мгла, мы же вон — на столе — свечку жжем! При свечке не увидишь, куда иглу втыкаешь. Эй, охрана, зажечь свет!

Настенька, что ты так кричишь-то, тебе привиделась охрана. Они ночью не придут. Спокойно шей. Я спокойно шью, Таточка. Я только не знаю, куда... вот этот...

А, этот! Вот сюда. Давай покажу. Вот так.

А эту... пуговицу куда, Тата?

Олечка, думаю, вот сюда. И к ней... рядом... давай еще одну...

...Ночь только кажется огромной. На самом деле она идет и проходит уже. И они должны успеть. Они нынешней ночью, впятером — Лиза, нянька Саша, Тата, Настя и Ольга — зашивают все драгоценности, что они увезли с собой из Петрограда, в одежды великих княжон. Работы много. Бриллианты, сапфиры, изумруды, жемчуга, золото надо спрятать искусно. Зашить под подкладки, вшить в лифы платьев, с испода корсетов, обшить камни холстиной, превратив их в пуговицы.

Татьяна дирижирует этой ночью. Ночь — оркестр. Драгоценности — ноты. Иглы и нитки — скрипки и виолончели. И поют, вздрагивают голоса, исполняя не разученные никогда еще партии.

— Прячь лучше... все видно...

— Вот прекрасный лиф. Давай... вот тебе подкладка... я сама вырезала...

— Бери скорей. Самый крупный...

Огромный алмаз перетек из дрожащих пальцев Насти в пальцы Лизы Эрсберг.

- А сами не можете, ваше высочество?.. Ладно, давайте...
- Ольга. Держи. Не вырони.
- Ваше высочество, дайте я.
- Сашенька!.. какая ты добрая.
- Тут была пуговица зеленая... зеленая...
- Изумруд, что ли?.. Это папа подарил мама на свадьбу...
- Тихо... не ори...
- Я разве ору...

Руки ходят, передают друг другу камни, золото высверкивает яркой спинкой ящерицы. Камни холодные. Их только что достали со дна реки. Со дна жизни. Их обтекала кровь, как вода. Их целовали и ранили себе губы; да все в прошлом. Девочки, а что с нами было в прошлом? Кто помнит? Не будем про прошлое. Давай лучше про будущее. Давай! Нас скоро освободят. Вот там, куда мы едем. Мама сказала, есть отряд верных офицеров. Тата, Таточка, а ты правда веришь в это? Тише!

Нянечка Саша Теглева сидит спиной к закрытой двери. У Сашеньки очень широкая спина, и стул к двери стоит слишком близко. Когда, не дай бог, будут открывать — наткнутся на стул и открыть не смогут. Пока будут возиться со стулом — девочки все успеют спрятать. А если они захотят обыскать?

- Душки, а может, запереться?
- Настя, Родионов же позавчера сбил с двери защелку.

— А ты делай так: бери холщовый лиф... вот... камни насыпай в лиф платья... вот так... накладывай холст... и зашивай, вот так, аккуратненько, по бокам... а потом пройди насквозь, простегай, ну, как одеяло...

- Вот так?..
- Да, миленькая, именно так... У тебя получается...

Ветер, ветер. Стекла в окне трясутся. Души трясутся. Но души — не зайцы. И не должны подгибать лапки. Их мама смелая. Смелыми станут и они. Да уже стали. Цесаревич в своей комнатке спит спокойно, не стонет. Сегодня воистину спокойная ночь.

- Лиза!.. кажется, кто-то идет. Шаги по коридору!
- Никого... тебе почудилось...

Опять шьют, кладут, обкладывают тканью, зашивают по краю, по краю. Игла прокалывает жизнь по краю. По краю. И они, вместе с иглой, тоже идут по краю. Они — живые иглы и тянут за собой черную нить времени.

В окно, как в зеркало, глядится густо-синее небо с крупными сибирскими звездами. Небо само себе нравится. Анастасия поднимает от шитья лицо. Лицо цвета гимназического мела, нехорошо девочке не спать в это время; если не спишь в два часа ночи, то и не заснешь до утра, говорит мама. Но сегодня такая ночь. Она слишком важная. Мама все правильно решила. Это драгоценности короны. Скоро комиссаров прогонят чудесные белогвардейские отряды, великие герои, и снова наступит... на земле мир, в человецех... благоволение...

- Лиза! Поддай мне вон то ожерелье.
- Длинное, жемчужное?..
- Да... в нем мама была... на коронации...
- Господи, какое красивое...
- Мама сказала: кто из вас первой будет выходить замуж — той и подарю жемчуга...
- Ой, тогда я — первой выйду!..
- Настенька, сначала жениха заведи...
- Саша! Знаешь что... встань... и пересядь на кровать, к нам... а сама ножку стула — в ручку двери воткни... так надежнее...

Нянька Теглева встала и послушно исполнила приказание Ольги. Перевернула стул и продела ножку в дверную медную, сто лет не чищенную ручку. Осторожно присела на край кровати.

— Нас всех здесь много... я кровать продавлю...

— Не бойся, ты худенькая. Не продавишь...

Рубины. Вот этот — из Индии. Подарок английского короля Георга. Колье королевы Виктории. Ожерелье покойной матери Аликс, их бабушки, ее они никогда не знали — она в могиле. Жемчуга, розовые, черные и желтые, добытые со дна моря, это папа привез из Японии, какая сказочная страна, там женщины ходят в деревянных сандалиях и в кимоно и на спине завязывают огромный бант, они похожи на тропических бабочек. А вот и золотая бабочка, в размах крыльев вставлены крупные и мелкие сапфиры. Тоже Индия? А может, Африка? Драгоценности — это весь мир. Вот он, весь на ладони, перед тобой.

И рассыпался, раскидывался вдоль по кровати, по смятым простыням, весь мир — алмазы и рубины, кровь и слезы, крики задыхающихся от газов на военных полях, ругань в окопах, тусклый стальной блеск угрюмых танков, медленно падающий с брестера офицер, солдаты в грязи, стонущие, тянущие руки: больно! больно! спасите! — жемчуга стерильных бинтов, опалы марли, хрустальные друзья госпитальной ваты, парча хирургических повязок, и вот, страшно улыбаясь, обливаясь кровью рубинов и яшмы, турмалинов и кораллов, встает убитый человек, а у него вместо сердца — сквозь решетки, прутья ребер — горит свеча, и огонь падает на непролазную грязь, на столбовую дорогу, на стонущих, умирающих от взрыва, на расстрелянных во рву, — драгоценности, вот они — свечи уже в руках людей, их толпа, они идут, да не в храм, а мимо храма, за сумасшедшим человеком, он так страшно, надсадно кричит, вопит: за мной! я дам вам счастье! а всех, кто не с нами, мы убьем! — и лысая его голова сверкает гладко обточенным кабошоном, и внутри чудовищной лысины, в ее бледном опале, перекачивается огонь красной крови, ее несгораемый, непалимый стукот, — умирают цари, над ними поют панихиду, над ними кадят и зажигают все, все до одной, золотые свечи на гигантском небесном паникадиле, оно размахнулось во все звездное весеннее небо, это пасхальное золото, и это кровью красят яйца, это не яйца искусника Фаберже — это то алое яйцо, что несчастная Магдалина поднесла на голой ладони надменному императору Тиберию, поцеловала и поднесла, — это все было еще до раскола, еще до Иоанна Грозного, еще до князя Олега и княгини Ольги, еще до скорбных бездонных икон Византии, — так давно, что люди уже забыли, как это было, а драгоценности вот не забыли, они, живые, весь путь прошли, катились по земле и катились, и переступали босыми, в мозолях, ногами каторжан, и звенели серебряными кандалами, они только прикидывались чугунными, и захлестывали живые шеи золотыми веревками, они лишь притворялись пеньковыми, — а сокровища все вспыхивали, все обжигали руки и сердца, блестели во ртах вместо зубов, торчали подо лбами вместо глаз, бросали их в печь вместо черного древнего угля, лопатой гребли из отхожего места, грузили на телеги и выкидывали на свалку вместе с робронами на китовом усе и фламандскими кружевами, — а они все катились и катились из тьмы, из смерти, из прошлого, и над ними впору было стоять со свечой и петь ирмосы и тропари, а Кто там стоит, улыбаясь во все драгоценное лицо?... воскрес из мертвых, смертью смерть поправ... и сущим во гробех... живот даровав...

Да это не человек! Это свеча! Это... драгоценность...

— Таточка, у тебя нитка порвалась... и запуталась... давай я вставлю.

— Спасибо, душка, я сама.

— Тебе плохо видно. Свеча догорает.

- Свеча?.. Да, и правда...
- Правда?..
- Все, все правда...
- И то, что мы сидим и шьем здесь, тоже правда?
- Да.
- А я думала, мне все это снится...

Катится круглый теплый жемчуг под их еще детские пальцы. Нет прощения. И нет возврата.

Под столом перевернулся и во сне взлаял их любимый спаниель.

- А рубин похож на кровь, Тата.
 - Настя, что ты болтаешь.
 - Девочки... девочки... умоляю, тише...
- <...>

* * *

...Мебель стояла твердо на своих дубовых ногах: прочная, на века. Все было вроде бы на века; и вдруг шкапы снялись с мест и поплыли вдоль стен, рояли накренились, как черные лодки, столы скакали чудовищными деревянными конями. И птицами с хрустальными хвостами летели люстры, опаяя голые головы.

Все стало зыбко, ненадежно. Полетно, призрачно, сонно. Никто не мог бы достоверно сказать: сон нынче или явь.

- Во сне такое не приснится, что творится с Россией.
- А может, сейчас проснемся?

Татьяна часто сидела на широком подоконнике. Смотрела на улицу. В окно виден страшный островерхий забор, зубья досок вгрызаются в ветер и облака. За забором — думы. Трубы, думы, гарь, голоса. Люди спешат: с работы, на работу. А вот они никуда не спешат. Им некуда спешить.

- Ямщик, не гони лошадей! Мне некуда больше спешить-и-и-ить!
- Тата, слезь с окна! Тебя подстрелят! Как воробья!
- Как утку, ты хочешь сказать.

Подмигивала младшенькой, но с подоконника слезала и подходила к шкапу. Коричневым рядом, как соты в улье, стояли книги. Татьяна открывала створку и нежно, чуть прикасаясь, гладила корешки.

- Читай, любопытствуй!
- Это чужое.

Все вещи слуги инженера Ипатьева, когда тот отъезжал, снесли в кладовую; кладовая размещалась в полуподвале, и ключ от нее носил с собой комендант Юровский.

- Мама, а грустно, наверное, инженеру было отсюда уезжать. Из родного дома.
- А он разве тут родился?
- Господи, Стася, всегда прощаться грустно. Что ты плачешь?
- Как из Царского Села уезжали, вспомнила.

Мать подходила к дочери и притискивала ее голову к своей груди: вместо носового платка — материнский кружевной воротник, сырое теплое тесто родной плоти.

- А когда мы отсюда уедем?
- Старуха больно сжимала клещами крепких пальцев дочкино плечо. Молчала.
- Значит, не уедем.

Морщины текли, как слезы.

— Нет, уедем, уедем! Мама, не надо!

Царь уже бежал с мензуркой, и капли пустырника в ней.

— Лелечка, а ты знаешь, в кладовой стопкой лежат иконы.

Ольга медленно оборачивалась к Анастасии.

— Анастази, ну и что из этого? Это чужие иконы.

— Но почему их сняли? Их надо повесить. Вернуть на места. Они же святые!

Ольга обхватывала себя за плечи, будто мерзла. В жару — обматывалась черной ажурной шалью. Под тощий зад, когда играла на рояле, подкладывала подушечку. На подушке вышит вензель: «ОР».

— Это не нашего ума дело.

— Ой, ну можно я хоть одну повешу?

— Когда ты успела их разглядеть?

— Я вместе... с Прасковьей...

— А, у нее ключ?

— Комендант ей дал. Чтобы Прасковья оттуда еще один самовар взяла.

— Она брала самовар, а ты копалась в иконах?

— Я не копалась. Я сверху увидела! Одну. Божию Матерь Утоли моя печали!

Вещи, вещи. Они мотались и качались маятниками. Они мерцали и гасли. Уходили в туман. Все вещи убьют и сожгут. Дом разломают и на кирпичи растащат. И потом из этих битых кирпичей где-нибудь кому-нибудь сложат печь в бане.

Вещи человеческие, такие привычные. Стулья, подушки, кастрюли. Бумаги и книги. Подумай, Мария, этого всего через каких-то пятьдесят лет не будет. Залезь в будущее и погляди: что увидишь? Ничего. Ни печных этих изразцов, ни полосатых обоев, ни стула с обивкой в мелкий цветочек. Ни чернильницы на столе, ни ручки с вечным пером. Вечное? Какое вечное? Где здесь вечность?

— Машка, нас охраняют, будто мы вещи.

— Брось. Перекрестись и помолись. Это наваждение. Бесы.

— Мы вещи! Вещи!

— Настя, ну я тебя прошу.

— Проси не проси! Все равно вещи!

«Вещи, все равно», — Мариины губы без мысли, без чувства повторяли слова сестры. Повтор, музыкальная реприза. Еще раз. Как говорит мама по-немецки: *noch einmal*.

— Нох айнамаль!

— Машка, ты что?!

— Форвэртс!

— Ты что, на плацу в Гатчине?!

Мария по-военному повернулась, подняла ногу, не сгибая ее в колене, и стала маршировать по гостиной. На столе звякнула чернильница: Мария тяжело наступила на скошенную половицу.

— Машка! А когда мы уедем отсюда — инженеру вернут особняк?

Мария встала: ать, два.

— Нет. Народ тут сам поселится.

— Народ? Какой народ?

Волосы текли с затылка на плечи Марии густым тяжелым медом.

— Разный. Солдаты, торговки с рынка... может, рабочие. Здесь же много заводов и фабрик.

— Рабочие, — Анастасия накручивала прядь на палец. — Но ведь рабочие живут в своих домах! Им есть где жить!

— Они живут в бараках.

— Что такое барак?

— Это такой... большой сарай. Грязный. Там клопы и вши.

— Фу. Откуда ты все это знаешь? Ты там была? В бараках?

— Да.

— Не ври!

— Я ездила с подарками в рабочие бараки, когда мы были в Костроме. Вместе с тетей Эллой.

— Это когда мы были в Костроме?

— В тринадцатом году. На празднество юбилея династии.

Анастасия смотрела прямо, жестко и тяжело дышала, будто бежала. Приоткрыла рот.

— И как там? В этих бараках? Страшно?

— Страшно. Как там люди живут? Я не понимаю. Там такие большие комнаты, и в каждой комнате по многу человек. Иные спят на полу, и даже без матрацев, на тряпках. На своей одежде. Есть комнаты получше. Там женщины с детьми. Дети орут, запахи... — Мария повела плечом, склонила голову к плечу, смотрела косо и снизу, как птица. — Дети тощие. Страшно худые. Нам одного развернули, вынули из пеленок. Пеленки — ветошь. Такими тряпками на кухне столы вытирают. Матери плачут: нам детей нечем кормить, у нас молока нет, пришлите хоть молока, каши! Хлеба пришлите! Стася, я стояла и смотрела, и мне стало плохо. Просто плохо. Но я крепилась.

Сестра опустила глаза. Мяла в пальцах край фартука.

— Зачем тогда... поехала?

— Тетя Элла сказала: повезем подарки...

— А какие... подарки? Бусы? Игрушки?

Рот Марии дрогнул и сжался. Так сжимаются створки перловицы, когда ее изловят в реке.

— Что ты. Какие бусы. Хлеб... буханки... Крупа, пакеты, коробки... Рис... гречка... горох... Мясо, консервы... Лекарства, мешки с лекарствами... и надписи, где какое... Детские одеяльца... одежды ворох...

«Гороховые бусы», — неслышно прошептали, сами, ее губы.

Мария покосилась на спину Лямина. Он сидел спиной к девочкам, около изразцовой печи, близ рояля. За поднятым черным Люциферовым крылом рояльной крышки его почти не было видно.

— А иконы? Вы им привезли иконы?

— Нет, — с трудом сказала Мария.

Она смотрела на Лямина, видела из-за рояля его голову, и ей казалось — его уши шевелятся.

— А почему нет?

Мария вытянулась и поднялась на цыпочки. Гляделась в рояльную крышку, в черное деревянное зеркало. На самом деле она пыталась рассмотреть лицо Михаила. Он не поворачивал головы. Так тупо и глядел в стену, на печь, на павлинью радугу изразцов.

— Не знаю.

* * *

...Кладовая была вся обложена цементом. Там всегда стоял холод, покрепче, чем в погребе. Пашка иной раз ставила там корзину с яйцами и крынки с молоком. А од-

нажды подвесила к крюку тушку копченого поросенка. Поросенка закупили не на деньги, выдаваемые царям: у кровопийц свое довольствие, у солдат — свое. Деньги на поросятину выдал Голощекин из своего кармана. Погрозил Пашке: выбери самого крупненького, да если отрежешь кусок себе и заховаешь — я тебя сам закопчу!

Когда спрятавшийся на чердаке дома у Исети белогвардейский прапорщик подранил Жорку Исупова и Жорка добрых десять дней метался в жару, качал на подушке красную, как спелая морковь, пылающую голову, Ваня Логинов догадался на время положить Жорку в кладовую, в прохладу. Жорка дышал тяжело и глубоко. Пахло блаженной сыростью и копченой поросятиной. Наутро Жорке полегчало. Его отнесли в столовую и положили на диван, где спала девица Демидова, а девице составили вместе четыре жестких стула: здесь спи! Демидова, со скорбным личиком, приседала. Книксены ее делать научила Анета Вырубова.

А теперь Лямин, войдя в кладовую, стоял один посреди этого пыльного и кем-то любимого, то сложенного в аккуратные пирамиды, то сваленного в кучи, уже переворошенного чужими руками чужого добра. Он, любопытствуя, смотрел, как человеческая жизнь неуклонно обращается в хлам.

«Каким-то вещам повезет, они останутся среди людей надолго. Какие-то — сожгут к едрене матери. Что такое вещь? Ее сработал человек. А человека кто сработал? Бог? Не верю я уже в эти сказки. Откажутся люди от Бога. Не нужен он будет им. И теперь уже — не нужен».

Мороз подрал по спине, будто вместо кожи на хребте и лопатках у него была натянута диванная обивка, и ее царапали кошки.

«Что я болтаю! Боже, прости!»

«Что ты дрейфишь. Тебя никто не слышит. Здесь, в этой кладовой. Как под крышкой гроба».

И дома вдруг представились ему гробами; они медленно восставали из земли, раздвигали деревянными квадратными головами влажную землю, слежалое пшено пещка, и вставали вертикально, и шли, безного, безруко, по улицам, и коротким и длинным. Короткая или длинная жизнь, а человек погребает себя при жизни в домах.

«А раньше что, жил на воле, как волк? Да, и волен был, и дик, и счастлив».

«Какое счастлив. Мерз, в холоде, в голоде, брюхо подведет, выл на луну. Убивал сородичей и ел, чтобы выжить».

«Сородичей. А сейчас мы кого убиваем? Разве не сородичей? Так где же этот чертов Бог? В какой норе прячется? Все орут в уши: будешь, будешь держать ответ за то, что содеял! и Бог накажет! Нас-то Он сто раз уже наказал. Тыщу. А вот Он — если есть! — перед кем ответ держит? Перед самим собой?»

Взял икону, лежащую на самом вершине начинающейся у половиц горки из икон и старинных церковных книг. Всмотрелся. Ну и дела! Божья Матерь, и опять без младенца. Ох, черт. Ребенка-то он и не заметил. Женщина подняла руки, а ребенок нарисован у нее на животе. В странном круге. Лямин обвел круг пальцем. Ребенок глядел ему прямо в глаза.

«Черт, у этого Бога всегда такой взгляд, душу вынимает. Да нет, просто богомаз искусный! Умеет нарисовать печаль».

Палец обвел и глаза, и брови скорбного мальчика.

Лямину почудилось: он похож на больного царенка.

Он хотел осторожно и беззвучно положить икону Божией Матери Знамение поверх стопки, но за его спиной комарино пискнула дверь, и он бессознательно швырнул икону прочь от себя, даже брезгливо.

За ним молчали, но он уже прекрасно знал, кто это. Все в нем захолонуло.

— Зачем ты тут?

Пашка сделала шуршащий шаг. Будто что-то секретное прошептала сминаемая бумага.

— А тебе-то что?

— Мне? Мне всегда до тебя... что.

Говорил, но не оборачивался. «Ну, подвали поближе. Ну, еще ближе. Ну».

Но шаги больше не шуршали. Оборотались.

Лямин погладил книжку, как кошку. От корешков книг пахло мышами и ладаном. Он выпростал книгу из развала, как березовое полешко из кривой-косой поленицы, книги посыпались ну точно как дрова. Он сердито рассмеялся над самим собой. Книгу развернул. Страницы пахли сладким воском и отчего-то мылом. «Книги можно нюхать, а не читать. И все через запахи узнаешь. И читать не надо».

Вслух, с трудом, останавливаясь после каждого слова, он не прочитал — проковылял по буквам, как охотник за зверем — по наметенным сугробам:

— Не придет... к тебе... зло... и рана... не... прибли-жи-цца телеси... твоему. Яко Ан-гелом... Своим... за-по-ведь... о тебе... сохранить тя... во всех... путех твоих.

— Путех твоих, — эхом, жестко, отозвалось от двери.

— Пашка. Ну что ты какая?

Не поворачивался. Терпел.

Что-то плохое чувствовал: от Пашки, стоявшей за его спиной, исходило непонятное, тихо страшщее его излучение печали и злобы.

«Довлеет дневи злоба его...» — вспомнилось ему невпопад, ни к чему. Пашка дышала, и он слышал этот хрипящий легочный ритм, и подлаживался к нему, и дышал уже в этом ритме. Будто они на лыжах шли в тайге, с ружьями за спиной, охотиться на росомаху. Или на рысь.

И за ними бежал широкий темно-синий лыжный след, вдавленный в солнечный, ярко-голубой снег. Где и когда это было? Во сне или по правде?

— Пашка, а мы с тобой...

Он хотел спросить: «охотились когда-нибудь», но она быстро и жестоко перебила его. Как торговка в бакалее, за прилавком, среди чаев и кофиев.

— Прячься.

Она сказала это слишком властно. Он этого не смог уже вынести.

Развернулся, как мотор, и чуть не загудел — руганью, выдохом, воем. Шагнул к ней через навалы книг, старых багетов, дырявых самоваров, ушастых кастрюль, медных тазов и чайников. Все это стало рушиться, падать со звоном, почти церковным, с заводским, будто в горячем цехе, грохотом и стрекотом. Лямин старался схватить ее и заткнуть ей рот своими губами — а может, что другое с ней сделать, еще не знал, — но наткнулся грудью, ребрами на истекающие из Пашкиной, застегнутой на все медные пуговицы аккуратной гимнастерки пугающие твердые лучи высокой и крепкой груди. И застыл. Глупо, унизительно.

Оба молчали. В тишине сверху кучи малы свалилась последняя кастрюля: маленькая, с очень длинной ручкой. Что в ней варили? Яйца?

— С... Что ты делаешь!

Он не понимал, почему все так.

Пашка еще немного постояла такой — жесткой, слишком горячей даже на расстоянии. Этот ее жар жег его изнутри.

Он протянул руку, и сквозь плотный воздух боли и ненависти, ревности, ужаса, прожитых убийств, порохового дыма, Бог знает чего ему удалось все-таки вцепиться в ее руку, висящую вдоль ее потешных галифе.

— Пашка! — крикнул он живым, но уже насмерть раненным шепотом. — Пашка, да ты что?! Какая муха тебя... Ты чё, умирать собралась?! Или... меня убить?!

И тогда она разинула рот. Во рту блестели ровные, ненаглядные зубы. Она подстриглась, и волосы опять непослушно вились и клали новые кольца на высокую, обветренную и сильно загорелую шею. «Она похожа на рысь! Скулы, уши...»

— Зачем мне тебя убивать, Миша, — она не вырывала руку из его потного сумасшедшего кулака. — Мы тут одни.

— Наедине и убивают, — плохо пошутил он. Голос сам куда-то уходил.

— Ну что ты такой? — теперь она упрекала его. — Я давно тебе хотела...

Это она уже держала его руку. Пожимала ее. Смотрела себе под ноги. Около ее ноги валялась эта самая иконка, что он рассматривал минуты назад. Мать и ребенок в круге, в выпуклом шаре живота.

— Не тяни!

Он вмиг, даже без ее слов, догадался, что она скажет.

Пашка шагнула и наступила ногой в сапоге на иконку. Богоматерь лежала лицом вверх, и Пашкин сапог пришелся на ее живот. На этот красивый, небесный, лунный шар.

Доска треснула под подошвой. Сапог крепче вдавил икону в цементный пол.

— Ребенка жду, Мишка.

«Говори, говори, ты быстро должен что-то отвечать. Говорить! Не молчать».

— Ну и... кто отец-то?

Лизнул сначала верхнюю губу, потом нижнюю. Глаз не отводил.

Раздавленная сапогом Богородица кротко смотрела на них обоих снизу вверх. И не могла достать до них глазами. Слишком высоко, недосыгаемо стояли и молчали они.

Пашка сжала его пальцы до хруста, как мужик. И — оттолкнула его руку.

Теперь они были разъединены. Ни нити, ни паутины.

— Тебе сказать?

— Я сам знаю.

Он нес невесть что. Не слышал своего голоса.

Смотрел на ее сапог, твердо стоящий на иконе.

— Что ты знаешь?! Ну, что?!

«И правда, может, она не об том».

Спокойно попытался выдохнуть, усмирить себя, усмирить ее. Как бешеную лошадь.

«Да ведь так было всегда. Я всегда ее усмирял. Всегда воевал с ней. Есть конец этой войне?»

Пашка села на корточках. Будто хотела покурить. Будто бы за ней не цементная стена кладовой тускло, похоронно светилась, а высылся забор — около него всегда курили на корточках охранники. А потом сапогами окурки втапывали в землю.

— Уймись. Прошу. Услышат.

Но она уже кричала в голос.

— Ты! Дрянь! Всезнайка! Истязатель! Пес!

Забилась себе рот ладонью, кулаком, будто пыталась съесть, отгрызть, как собака, себе руку.

И — тихо, скучно и буднично выковыряла изо рта, будто щепкой, застрявшие в зубах волокна вареного мяса, будто и не вопила на весь Дом миг назад:

— Ты.

Опять их обволокло жгучей горчицей мучительное молчание.

Она поднялась с корточек. Все еще стояла сапогом на иконе. Икона хрустела под сапогом, раскалывалась, расщеплялась, и Михаил потрясенно следил, как отломки разлетались в разные стороны из-под тяжелой подошвы. И летели в воздухе, святые птицы, деревянные голуби.

«Я спятил. Я схожу с ума! Что это?»

Бесполезно было сейчас думать, жмуриться, трясти головой, останавливать небыль. Надо стоять, безропотно глядеть, терпеть.

Пашка сама обняла его. И вместо Пашки была Богородица, ее светлое, чистое, без единого пятнышка, лицо. А расколотое летящее дерево уже горело в огне неба, в его цементной угрюмой, безбрежной печи. И Богородица накладывала свой лик на ужаснувшееся лицо Лямина, покосившееся, как фасад старого, на слом, дома: доски поехали, косяки подломились, как колени, дом тоже хочет помолиться и не может, он умирает.

И некому его хоронить. <...>

...Он плакал во сне. Слезы затекали ему под щеку. Он лежал в кладовой посреди убитых вещей, а на нем лежали упавшие книги. Из перевернутой кастрюли рассыпались старые сухие ягоды рябины. Из таких девки в Буяне низали бусы. Сильно пахло луком. За его затылком валялась связка сухого репчатого лука, луковички горели в полутьме рыжими, золотыми лисьими огнями. Лямин пошевелился. Встал, отряхнулся. Выпростал гимнастерку из-под ремня и ее краем вытер мокрое лицо.

Вышел во двор. Вечерело. Нет, я не пьян, я не пил, сказал он себе. Долго курил у забора. Затушил самокрутку о ладонь. Нарочно хотел руку ожечь. Ничего не почувствовал.

«Если встречу — спрошу. Никак, мне все причудилось?»

...Он увидел Пашку, когда солдаты сели вечерять за столом во дворе. Пашка громыхнула об стол огромной сковородой с жареной картошкой. Мускулы вздулись выше локтей у нее под рукавами гимнастерки, когда она водружала тяжеленную сковороду на узорную чугунную подставку. Охранники ели безо всяких тарелок, да не вилками никакими, а ложками; скребли по сковородке, отдирая прижарки. Сковорода быстро пустела.

— Пашке, Пашке оставьте!

— Ох, спаси Бог, повариха. Уважила.

— Да, картовь што надо.

Пашка холодно посмотрела на жалкую горстку картошки, прижавшуюся к краю сковородки, как нищенка к церковной стене. Усмехнулась. Подтерла ржаной коркой масло, ложкой быстро загребла картошку и отправила в рот.

— Вот и весь мой ужин. Отдай врагу, — прошептала.

Захохотала тихо. Солдаты смотрели на веснушки, ползающие по загорелому, покрасневшему бабьему лицу, на выцветшие под солнцем пряди — она то и дело заправляла их за уши, мешали они ей.

— Хороша Глаша... да... не наша...

— А чья? — беззастенчиво, по-детски спросил Антон Бабич. Обшлагом начищал голенище.

Ваня Логинов смущенно, осторожничая, глянул на Лямина. Лямин вытирал от масла рот. Бабич проследил за взглядом Логинова. Логинов подмигнул Антону.

— Такие делишки... У них все уж давно утыпано...

Пашка встала и держала сковороду за деревянную длинную и толстую ручку, хотела уже в кухню нести, когда Лямин, возя по пыли сапогами, подошел к ней.

Он видел, как ее пальцы сильнее впелись в деревяшку. Посинели.

Хотел взять ее за плечо. Не взял.

Не смог убить расстояние.

— Паша, мы с тобой сегодня в кладовой... видались?

Молчала. Вертела сковородой туда-сюда, будто карасей на ней жарила.

— Паша. Брось цирк. — Положил пальцы на ее пальцы, вынул сковороду из ее руки, поставил на стол. Ему было все равно, услышит его кто, не услышит. — Ты мне о ребенке говорила?

И вот тогда она повернула к нему все свое широкое, солнцем опаленное, веснушчатое, красное, краснее флага, обветренное, грубое лицо. Да, грубое, а ему оно всегда казалось нежным. Раскрылись грубые губы, и грубые легкие вытолкнули из себя прочь:

— Уйди. <...>

* * *

— Сашка, ты, главное, пей. Отличный самогон. Я такого никогда не пивал.

— Я пью, ты не гоношись.

Люкин взял бутылку и отхлебнул из горла. Глоток вышел громкий, захлебный. Лямин аж отшатнулся.

«Ишь жадный какой. Так и все выхлебает».

Смутно подумалось о большой прозрачной четверти, что стояла в коридоре за сундуком. Четверть странного стекла, не голубого, не зеленого, а будто в стекло, когда выдували бутылку, подмешали опал или перламутровую крошку: туманная и переливалась радугой.

И внутри — радуга. Радость, счастье. Вот дано же это счастье мужику — выпивка. В любом горе про горе забудешь. А может, его и избудешь. Пьяным, говорят, море по колено.

«Море. Море крови».

— И вот, значитца, Мишка, потащили мы эти дурные чемоданищи на пристань. Я два ташу. Думаю: и зачем, ну зачем людям столько барахла? И с собой возить. За собой этот воз тянуть. Ну правильно, сами не тянут, тянут другие! На энтот, брат, вся ихняя радость и построена. Лакеи за креслами стоят: што вам подать такого-энтакого? Горничные с подносами бегут, спотыкаяюцца: не изволите ли блян... тьфу!.. блянманже? На кухне — повара над блюдами потеют. А за ними надсматривают: то ли в супчик положили, то ли мясо стушили! Так ли мелко капустку порезали, как надо, штоб ихние царские зубки легко ту капустку прожевали! И не дай-то Бог в котел бросить не тую косточку. Али — на сковороду — тухлый кусочек. Ешкин кот! Да тебя самого с потрохами съедят! На тую самую сковородку — и бросют! И даже не разрежут! Не оциплют! Так и сжарят, в одежке!

Захохотал хрипло, простуженно.

— Ты пей, пей. Согреешься.

— Да вроде б весна на дворе. А меня знобит. И верно, на пароходе меня просвистало, на палубе. С тех пор и дохаю.

Лямин подвинул к себе стакан и налил. Люкин издал короткий смешок.

— Ты, ешки, прямо как культурный таперича. Из стакашка пьешь. А я вот прямо из ее, из родимой. — Еще раз припал к горлу синебокой бутылки, глотнул мутную, похожую на пахту жидкость. — Дотащили мы барские энти проклятые чемоданы. Прощай, Тобольск! Когда ишо свидимся!

— Ну не зарекайся.

— Да свидимся, конечно; куды мы без Сибири-матушки? Скольки лет по морю плавал, моря дна не доставал, пил я водку, ел селедку, по матане тосковал! Эх, Сибирь моя, да реки рыбные! Полюби меня, матаня, парня видного!

Люкин знал невероятное количество частушек. Вот и тепер заблажил на весь коридор, зачистил.

«Цари проснутся и не уснут. А пускай их слушают! Народ поет».

— Я любила Ленина, я любила Троцкого, а таперь буду любить Васятку Тобольского!

Лямин хохотал уже. Обнимал обеими ладонями бутылку, будто грел об нее руки.

— Ты погоди... Сашк... ты давай — про пароход...

Люкин перевел дух.

— Уф. Про пароход? Про па-ра-ход?! А што-о-о-о... Да ништо. Пароход — «Русь» называцца. Чуешь, энто гордо звучит! Русь! А я смерти не боюсь!

— Хватит ты.

— Не злися, злун. Реки наши огромные, могучие. По реке плывешь, а будто по морю! Все думаю: какое оно, море? Ты вот видал?

— Видал.

— А игде?

— В Питере.

— Счастливеец ты! В Питере побывал.

— Я недолго там поплясал. На одной ножке.

— А море, море-то все одно видал. Наш Тобол все лучше моря. Ширше. Говорят вот, Байкал славное озеро. Ну чисто море. Не бывал.

— Еще побываешь.

— Да какие наши годы. Конешно, поеду! Вот война закончицца... все энти смерти, ешки... и женюся, детей нарожу и с ими — на Байкал поеду. Озеро-море глядеть!

— Ты давай про княжон.

— Ну и вот мы по сходням валим на пароход. Кучи нас, народу-то. Во-первых, энти. Приоделись, как на парад! Платьвица в рюшечках, в руках зонтики несут, раскрытые, а дождя нет. Я, дурак, таких не видал никогда; а энто оказались от солнца. Штобы щеки не напекло. За ими семянт слуги. Ну, вся энта... свита. Все, кого из Питера в Тобольск вместе с ими привезли. Энтот, матросик, Нагорный ему фамилие, на руках мальчонку несет.

— Цесаревича?

— Ну кого же! Мальчишка матроса за шею руками крепко обхватил. Сидит. Как на коне, сидит и с матроса сверху вниз — на нас, на скот — смотрит. Глаза большие, по плошке. И в глазах такое... и жалко ему нас, и видно: презират он нас. Мы для его все одно скот. Мы для всех их — скот! Скот, Мишка!

Лямин отпил из стакана. Самогон был скорее сладкий, чем горький, и пах яблоком. «Яблочко натолкали, а еще, может, зверобоя. Зверобоем несет».

— Ты спокойней. Не блажи.

— А што?! Их перебудим?! Так разбудитесь, жги вашу мать! — заорал Люкин.

Лямин усмехнулся и еще выпил. Занюхал ржаной коркой. Хлеб уже исчез, незаметно.

— Тогда ори сильней. Чтобы сюда прибежали и твой рассказ слушали.

— Ладно ругаться-то, чай, не поп за грехи. — Люкин пьяно подмигнул Михаилу. — Я все, я смиренный. Я просто иногда хулиганю. Распояшусь... и опять подпояшусь. Ну и вот, они все хлынули на палубы, по трапу, с трапа чуть в воду не попадали, неловки дак. А за ими — мы. Охрана, ешки! Впереди нас Родионов. Вот странный мужик: то, знашь, наглый такой, то смиренней козявки. И нашим и вашим, што ли, на дудке играют? Не пойму я его.

— Да черт с ним.

— Черт с одним, черт с другим! Со всеми у нас черти! — Люкин зубасто захохотал, и Лямин видел: у него во рту все зубы прочернели — от недоедания, от цинги. — Родионов машет руками направо, налево. Кричит: табе сюды, а табе сюды!

Всех по каютам растолкал, быстро управился. Не, Родионов, ежели надо, сообразительный. Ухватистый такой... Вижу, перед им энти мотающца: дядька-матрос и парнишка у его на руках. Пароход качат... и они качающца. Как вот самогонка в бутылке. — Люкин взял в нетвердую руку бутылку и покачал туда-сюда, маятником. — Нагорный мрачно так глазами Родионова сверлит! Белки навывкате! Мальчонка, вижу, дремлет. Сморился. А нам, вопрошат энто злыдень матрос, куды подацца прикажете, вашество? А вам, бьет его голосишком в щеку Родионов... а вам, вам... да ко мне в каюту! Вот куды! К вам, тянет матрос, к ва-а-ам?! Да ваши не пляшут. Энто — приказ! Командир приказал — ты, моряк, не смей ослушацца! И пошел матрос, волокет спящего мальчонку, и у его от затылка такие, знашь, сквозь бескозырку бешеные лучи хлещут. Аж мне жарко стало.

Дом инженера Ипатьева нежданно обратился в пароход. И плюхал, как пароход, и хлопал плицами, и погудывал, и мелко дрожал, повторяя вибрацию страшных, с железными челюстями и стальными клешнями, машин в трюме, и разрезал носом тугую, теплую, темную волну майской ночи.

— День как прошел? Не помню особо. Ну так себе прошел. Мы ели, пили... песни играли... Вечер сошел. Все угомонилися. Челядь в своих каютенках притихла. А што им. Они в услужении ведь, все для хозяев привыкли робить. А тут им и робить запретили. В каютах позакрывали. Родионов самолично с ключами ходил по коридору и всех замыкал. А штоб не убегли! Правильно. Острастка нужна. В любом деле острастка нужна! Правильно я говорю-у-у... Мишка-а-а?..

Михаил не был так пьян, как Люкин; Сашка пьянел быстро, за ним это водилось.

— И царенка с дядькой взял да замкнул у себя в каюте. А сам, думашь, куды спать пошел? Ну, угадай с трех раз? Не угадашь ни за какие коврижки. Пошел — не спать! Всю ночь на палубе просидел, простоял... Аккурат напротив каюты княжон. То у поручня стоит, то в белое кресло сядет. Сидит. Голову чешет. Думат головой Родионов. Мыслит, што будет. У нас на селе один татарин ходил и кричал: думай, думай, голова, шапка новый купим!

За окнами шумело. Ветер? Листва? Вода?

— А княжнам — ах-ах-ах-аха! — Смех забулькал у Люкина в глотке, как самогон. Он проглотил его. — Княжнам командир запретил на ночь запирацца! Ходил коло их каюты и кричал: я вам ключ не даю, изнутри не запретесь, снаружи тоже не запру, штобы я, значитца, мог к вам в любое время ночи зайтить и проверить, на месте ли вы! А то вдруг вы к едрене матери сбежите, в воду попрыгаете да уплывете, и поминай как звали! А мене потом ответ держать! Ах-ха... — Руки Люкина уже блуждали, бегали, брали и роняли, уже блудили по столу, пальцы порочно шевелились — сбондить, проткнуть, смахнуть бутылку со стола, как слезу со щеки. — Да прав он, хитрец! А што хитрец? Кажный из нас... перед властью... хитрый...

В окно постучали. «Ветки», — вздрогнул Лямин и засмеялся своему детскому страху.

— Коло дверей часовых поставил. И кого, думашь? — Люкин помотал головой, смешно, по-утиному. — Бронницкого, Куряшкина, Шляхтина... и меня! Охо-хоха! Ну, скажу я тебе... Скажу я тебе, Мишка, энто собла-а-азн... Куряшкин шуточки отпускат! Мы грохочем. Ночь-полночь! Мы не спим, и они не спят! Де-е-еушки!

Лямина как кипятком обдало. «Неужели — покусились? Обнагтели?»

Боялся спросить. И — хотел.

— Знаю, зна-а-аю, об чем интересуеся! — Опять это подмигивание, хитрое, сальное. — Знаю, да не скажу! Так тебе все и выдай, держи карман ширше! Ой, и весело нам было! Ухо к двери прислоняли, слушали. Как они там копошацца. Как божьи коровки в кулаке. Эх бы, в кулак бы косу взять... головенку отогнуть... всяко мы

там себе представляли! Слышим из каюты Родионова крики. Стуки. Это Нагорный в стену, в дверь барабанит. И чем брякал? Сапогом? Чайником?

— Пустой бутылкой?

— Ах-ха-ха! Слышим, матрос орет благим матом: эй вы, негодяи, што за наглещы, игде такое тольки видано, мальчонка болен, а если ему лекарство какое понадобится, а если его на воздух надо вынести, а если он в уборную захочет?! Мы ему — через весь коридор — кричим: если ты, матрос, в гальюн захочешь — ссы в золотой царский кувшин! Га-а-а-а! А он в ответ кричит: не боюсь я ни вашего командира, ни вас всех, гады! Идите к бесу! Вы сами первые бесы и есть! Мы ему орем: а ты заткнись, полосатая гнида, царский костыль! Тебя ищо пулечка найдет! Пулечка-дулечка... дурочка-курочка... А он нам: плевал я на вас! Вы меня все равно убьете, так я ж смерти не боюсь, я моряк, я в волну глядел и смерть на дне моря видал! А у вас у всех рожи такие, такие рожи! Не рожи, а рыла! Вы ж не знаете, што такое человек, потому што вы звери! Потом тихо стало. И у княжон тишина, и у матроса тишина. Все. Как умерли все. Мы уши наострили. Винтовки ближе к себе придвинули. Револьверы на боках щупам. Ну, думам, а вдруг на пароход какой шпиен пробралси, и в окно к княжнам залез, и щас они на нас — из оружия — как лупанут?! Да хоть из пулемета!

Михаил улыбнулся углом рта.

— Лупанули?

— Игде там! Ночь она и есть ночь. Тихо, темно... Пароход шлепат себе. Безветрие. Ровно идет, как нож по маслу. Мы караулим. Веки слипающца, едрить их... Бронницкий вздохнул да и лег на пол у дверей. Руки под скулу подложил. И через миг захрапел! Во, думаю, тоже нахал! А мы с Куряшкиным и Шляхтиным ка-ак переглянулись... как зыркнули друг на друга — враз все глазами сказали... и друг друга хорошо поняли. Хар-ра-шо-о-о-о!

Лямин тоже понял. Самогон больше не пьянил. Он вцепился пятерней в длинную гусиную шею бутылки.

— Ну, поняли.

— И ты ведь понял?! Да-а-а! Понял! Не отпирайся!

— Да. Понял.

— Глаза глазами, а языки-то языками. Развязали мы их. Первым шепчет Куряшкин: ну чё, ребята, рискнем? Такие курочки! Как из сдобного теста слеплены! В царской печке пекли... — Люкин сглотнул. Показал щербатые зубы. — Мы руки протянули, сплели. Вроде как поклялися молчать... Стоим. Ой, стоим! Так стоим... ха-а-а... што мочи нет... Опять глазами друг друга шпыням. Шляхтин бормочет: ну, што ж? Што медлим? Руку — на медную ручку дверную положил. Рука волосатая. Я на волосы энти гляжу. И представил, как он энттой самой рукой... шарит по вороту, по шее, лямки разрывает... кружево врет... и лапат, и царапат — энти грудки девичьи, нежные, белое мяско куриное... а другой рукой рот вопящий зажимат... эх-х-х...

Замолк. Тяжело, надолго.

Лямин завозился на стуле.

— Ну так...

— А, вошли мы али не вошли? Ишь, быстрый какой! Мы сперва захотели энтто дело сбрызнуть. Ну, и для храбрости. Шляхтин из-за пазухи бутылешку тащит. Вот, говорит, моя мене на дорогу всунула, а я ищо, дурачила, отказывался. Без закуски? Без закуски. Так оно ищо боле жжет. Каждый приложился. По первому кругу. По второму. Без закуски, Мишка, сам знашь, оно быстрее идет... но и пьяней, однако. И што мозгуешь? Пялился што?!

Посмотрел с сомнением на бутылку.

— Больше половины... или меньше половины?.. Как знать... Плевать... Три их там, три. За дверями. За стенкой. Так и вижу их. Сорочки их ночные. Не спят небось; сидят каждая на своей койке, а то и сбились в кучку, обмяюцца. Трусят! И мы — трусим. Ну шутка ли. Их же все же нам приказали — охранять. А не... — Грубое, дикое слово вывалил Сашка; и Лямин вздрогнул кожей всей спины, так вздыбливается и встает из травы лежащий зверь, почуяв охотника. — Три девчонки. И хороши собой. Особенно хороша энта, гордая. Татьяна. Нас трое, и их трое! Ну, тут мы разве-селились. И ищо глотнули! И стали, Мишка... их делить. Ну да! Делить! А што тут та-кого! Все честь по чести!

Волосы у Михаила превратились в ползучих змей, и растопырились, и потекли с затылка, с темени — по вискам, по щекам, вдоль лица. А может, это тек пьяный пот.

— Судим-рядим. Я кричу: тебе, Шляхтин, я знаю, Анастасия по душе! Он башкой мотат: нет, не-е-е-ет, я б Ольгу взял! Младшая, грит, слишком неуклюжа! Неуклюжа, ешки... Да зато царская дочь! На всю жизнь — детям, внукам — рассказов! Куряш-кин ищо хлебнул, крякнул и шипит: бросьте спорить, Анастасия — мне! Ну все тут ясно. Куряшину — младшенькая, Шляхтину — старшая, а мене, выходит так, Татьяна?! Ну все как я мечтал! О-хо-хо-ха-ха-а-а!

Лямин глядел на носки своих сапог. «Снять бы сейчас сапоги. Ноги болят. Прито-мились. Упрели».

— Татьяна-а-а-ана... До того горделива, зла на нас... Оборачивалась — глядела — как из глаз огонь швыряла... И штобы мы дотла сожглись в энтот огне, ешкин кот... А тут я шас буду ее мять, крутить... в тепленькой пароходной постельке, ешкин кот... Дро-жим. Озверели. Водка все не кончацца, мать ее! А што, бутылку за борт выкидывать?! Бутылку ж нужно допить! По последнему кругу пустили. Но мы уж и были хороши: нас вечерком — наливкой, целой четвертью — Агафон Шиндяйкин угостил... он на-ливку тую у вдовы Гермогена с кухни украл... когда попы поминки делали...

Дом Ипатьева молчал и дрожал. И все внутри Лямина дрожало противно, скользко.

Внутри ползали скользкие жабы и длинные ящерицы, высовывали раздвоен-ные языки. Перед ним из ночи вышел призрак Марии; Мария укоризненно, но не гневно, а тихо, печально глядела на него уплывающими во тьму глазами, и ее губы шевелились, ему показалось, он различил: «Что сделали вы с моими сестрами? Зачем?»

— Я Татьяну энту — там, в Губернаторском доме — завсегда подстерегал. Она идет, а я тут как тут, под ноги ей суюсь. Ух и ненавидела она меня! Я ей, наверное, хуже жабы кажусь. А мене начхать, жаба я али какое чудище. А она — подо мной. А я — над ей! И энтот, слухай, Мишка, так сладко! энтот слаще всего, оказывацца!

— Даже слаще случки?

— Случка — што! раз, и кончилась. А вот энтот — когда чуешь себя все время над ими — высоко над ими! чуешь себя над царями — царем!.. вот оно, торжество-то, игде... вот — счастье...

Скуластое лицо Люкина замаслилось, скулы блестели, глаза сочились пьяным со-ком, и масляный рот обнажал промасленные самогоном зубы, и масляные пальцы жирными рыбами двигались в темном прокуренном воздухе, плыли.

— Дочки кровопивца... деспота... вырастут — и станут точно такими же... Ты по-гляди на старуху! Ведь она ведьма!

— Ты...

Слова кончились. Остался один слух, каторжный, бесконечный.

— И вот стоим мы и думам: как же оно лучше вперецца-то в каюту? Как — войти? Ворвацца? В воздух стрелять? Всех перебудим. Тайное дельце-то затеяли. Тихо вползти? Мол, штобы поглядеть, как они спят? По головам счесть? Растеря-лись. Опять переглядываемся. Шляхтин весь колыхацца. Как в падучей. Руку на

ручку положил. Ручка забавная. В виде птичьей башки. То ли павлин, а то ли орел. Орел! Царская, значитца, ручка. Медно, красно блестит в ночи... Кровь, Мишка, везде кро-о-о-овь...

Бормотал все тяжелей, все тише. Стискивал бутылку кулаками. Дышал в нее, как в чей-то чужой женский рот перед поцелуем.

— А пароход, едрить его, все идет... Тарахтит... Машины скрежешут... Маслом машинным пахнет... Чую, горячо, жар там, внутри, в железном брюхе... Идет... Живет... А мы щас снасильничам этих девок, голубую кровь энту — и што?.. они назавтра все — вот те крест — с палубы в темную воду попрыгают... на дно, к ракам... Э-э-э-э, думаешь, я спужался?! Да ништо! Никогда еще Сашка Люкин не пужался! И другим не советовал! Я руку Шляхтина... с медного орла стряхнул... как крошку... и сам руку... на энту ручку... положил...

Лямин уже слышал голос, будто сквозь печную заслонку.

— И нажал... Повернул...

Лямин будто спал уже, а и не спал.

Глаза открыты, а разум улетел.

— Слышу: сопят за мной... Войти хочут... Меня вперед толкают... плечом напирают... Энто Куряшкин, плечом-то... И вдруг... хлобысь!.. валицца будто мешок с камнями... бух на пол... и звон, трезвон... бутылка по полу катицца... Пуста-а-ая... Я ничо не понимаю, а стрямко мене... Выгнул шею-то — а сзади... Шляхтин — без почуха свалился... И бутылка по пароходу катицца... прочь...

Обоими кулаками крепко сжав, поднял бутылку и допил остатки. Глотал быстро и крупно. Пил, как воду в жару.

— Куряшкин меня в скулу кулаком сунул: ну, ты... войдешь?! Оттиснул от двери... сам шагнул... и за порог сапогом зацепился... и тоже растянулся... ругается скверно... я ему — сапогом — на хребет наступил... давлю: ты, хватит!.. поигрались... попрыгали в кроватках с царевнами...

И вдруг вскинул голову и громко, отчетливо, как и не опьянел в доску, прокричал, будто с трибуны народу:

— В бога! Душу! Мать!

Голова Лямина отделилась от шеи и поплыла в мрачном прокуренном воздухе сама по себе. Смотрела на все сверху сизыми, цвета водки, глазами. Все наблюдала. Примечала.

Голова видела сама свой затылок, без надоевшей фуражки, мокрый от ужаса лоб, и как Сашка допивает водку, и бутылка выпадает у него из рук стеклянным клубком и катится, а кошки нет, чтобы поймать; а где-то рядом, в комнатах, лежит этот мальчишка, истекает вечной кровью, а может, не лежит, а плывет, и вокруг него спасательные круги на стенах каюты, и скрипит зубами матрос Нагорный, скрипят винты в пазах, трещит обшивка, лязгают железные кишки в трюме. И эти девочки. Они плачут, обнявшись, но так, чтобы никто не услышал.

— Шаги... Рядом... Командир... Он же не спал... На ветру стоял... Так вашу так! Товарищ Родионов, виноват! Расстреляйте! Ты... хрипит... тащи его... за ноги... а он уже?.. али ищо... А я ему: не знаю, товарищ командир... откуда я знаю...

Ветки плыли мимо. Ночь плыла и плескала в лицо, охлаждала волной плывущую голову. Пьяным соловьем щелкало, заливалось сердце. Вот-вот тоже выйдет из груди, рассмеется и поплывет.

— Мы — пьяные... пья-а-а-аные... нам все прощают... потому что мы-и-и-и... пья-а-аные... И нет на нас управы... а зачем управа?.. кто ее выдумал?.. мы сами себе управа... и так отныне будет всегда... во веки веков... аминь!.. к лешему... надрался я...

Икнул.

— Я оттащил... в угол... сперва Шляхтина... потом Курашкина... а може, наоборот... а какая разница?.. оттащил — и свалился на их... сам упал... Командир меня обкостерил сверху донизу... голосом отхлестал... а я только вздрагивал... блаженно... И засыпал... — Люкин упал носом в свою блевотину. Поднял чугунную голову и стряхивал грязь ладонью, как кот, умывался лапой.

— А утром... што утром?.. утро как утро... Обычное утро... Водичка под солнцем блестит... Весело идем, ходко... Чайки вьюцца за кормой... Мы винтовки вынули... пулеметы на палубу выкатили... и давай в птиц стрелять!.. Охота же... Любо... Ну, любо... Мужики же мы... али кто... нам только дай пострелять... хлебом не корми... напутал я... к лешему-кикиморе!.. Прицеливался, в чайку попадал точно, в грудку ей... она падала... крылья сложит и камнем вниз... в волны... а волны — трупик несут... Кричат они противно!.. Противные птицы!.. Гадкие!.. Из пулеметов — по чайкам... пли!.. Всех перестрелям!.. всех!.. все-е-е-е-ех... И никто нам не указ... На виселицу нас тащите... на плаху... к стенке... а мы все равно — вас всех — перестрелям... вас!.. кто посягат на нашу свободу... на нашу!..

Голова Лямина, ее уши внезапно услышали донесшееся из глубокой глубины, из дальней дали: «Эх, эх... без креста... Тра-та-та...»

...Это в Губернаторском доме, в зале, на маленькой нишей сцене, заезжий артист из Петрограда читал царям новомодные стихи. Как его пропустили к пленникам? А может, он шпион? Обыскали тщательно. Лямин сам обыскивал. Оружия нет при себе? А тайных писем? А режущих и колющих предметов? Правда ничего нет? Ну, мы проверим...

Сашка Люкин окончательно уронил башку на стол. Щекой лежа на столе, бормотал последнее, бредовое:

— Дочки убийцы... Убийцы... Распать их... вытрепать... и убить... А ключ-то в замке трещит!.. Кто закрывает каюту?.. кто приказал?.. кто... на ночь?.. до утра?.. Но утро, утро уже... утро... утро...

За окнами светлело. Холодное снятое молоко майского рассвета лилось в комнату. Лямин выдыхал перегар и страх. Ему стало беспричинно весело. А голова? Опять приросла к шее как ни в чем не бывало. Вернулась.

Только плитки, эти чертовы пароходные плитки, зачем они все шлепают по воде?

* * *

— Начальник охраны Павел Еремин!

— Я.

— Отобрать у всех, у кого имеются, револьверы системы «наган»!

— Есть отобрать.

Еремин двинулся выполнять приказ.

Он его выполнил.

Револьверы он собирал в большой кожаный ягдташ.

Притащил их в комендантскую. Юровский, подняв плечи, будто мерз, стоял около рояля. На нем была неизменная тужурка, застегнутая на все до единой пуговицы.

— Холодно, — поежился Юровский, — на улице пятнадцать градусов.

— А разве это холодно? — удивился Еремин.

— Давай сюда наганы.

Юровский указал на письменный стол.

— Но тут же документы! Как бы не попортить, товарищ комендант.

— Тогда давай сюда.

Кивнул на рояль.

Господская игрушка, музыкальная забава. Тоже попортит, но кто об этом теперь думает! Пальчики великих княжон не будут бегать по черным, белым этим костяшкам.

— Павел. Ты все понял?

— Да. Все.

Еремин стоял — мрачнее только туча грозовая.

— Сегодня!

— Я понял.

— Сейчас! Скоро!

— Всех?

Голос Еремина железом царапнул по лицу, по груди Юровского.

— Да. Всех! Всю семью.

— А доктор? Слуги?

— Всех, я сказал.

— Понял.

— Пойди предупреди солдат, чтобы не паниковали, когда выстрелы раздадутся.

— Сказать, что будем расстреливать?

— Сказать, что это мы, мы будем стрелять. Охранник Стрекотин на посту?

— Так точно.

— Стрекотина — ко мне!

Еремин отлучился. Привел Стрекотина. Юровский кинул на приведенного быстрый взгляд.

— Ты ведь пулеметчик.

— Так точно, товарищ комендант.

— Ты все помнишь, о чем я тебе говорил?

— Так точно.

— Твой пулемет где?

— На окне стоит. Я при нем.

— Молодец. Ступай.

...Пулемет излучал холод. Андрей Стрекотин стоял рядом с пулеметом навтыжку, как на параде. Напряженно слушал звуки Дома. Разные звуки, то хилые и слабые, то резкие и страшные. Он не мог сложить звуки воедино, кубики звуков распались, и со дна мешанины звуков вдруг поднялись и совсем рядом раздались шаги. Человек быстро сбегал по лестнице. В руке зажат револьвер.

Еремин подбежал к Стрекотину и всунул ему револьвер в потную ладонь.

— Наган? Зачем? У меня ж пулемет.

Стрекотин заглянул в лицо Еремину. Зачем он это сделал!

— Расстрел... скоро.

Повернулся. Ушел. Стрекотин ошалело глядел Еремину вслед.

Быстро положил револьвер на подоконник. Пристально, долго на него смотрел.

Положил руку на пулемет. Потом другую. Обеими руками обнимал пулемет, как женщину.

Опять топот по лестнице. Еще идут. Еремин, Медведев и с ними Никулин. И Лямин. И за ними — люди. Высокие, широкоплечие, сивые. С холодными лицами. Среди них — такой же холоднолицый, да только малорослый. Сивые пряди лезут на глаза из-под фуражки. Меж собой говорят по-чужому.

Стрекотин считает людей: пять, шесть, семь, восемь. Никулин отворяет дверь комнаты, около которой Стрекотин обнимает пулемет. Комната, что в ней? Пустая.

Латыши, Еремин, Никулин, Лямин и Медведев входят в нее и плотно закрывают дверь за собой. Стой, сиротливый Стрекотин, обнимай пулемет. У каждого этого сивого коня в руке — наган.

Облизнуть сухие губы. Водки бы выпить!

Не водки — воды. Целый жбан.

Пить и пить, пока не лопнешь.

Дверь наверху хлопнула, а Стрекотин так вздрогнул, будто в него выстрелили.

...Латыши осматривались в подвальной комнате. Мало места. Наползают друг на дружку стены. Гром сапог поутих. Кто-то сел на пол. Курить тут комендант запретил.

У всех латышей были имена: Ян, Витольд, Генрих и еще такие же заковырившие для русского слуха; и они окликали друг друга по именам. Лишь одного почему-то кликали прозвищем, по-русски: Латыш.

Все рослые, а этот плюгавый. Недорослый, и слишком тощий. Такая тощая маленькая собака, до старости щенок. Шея вытянутая и хрупкая, как у девчонки. А руки неожиданно, устрашающе большие и сильные. Такие руки — быка задушат. Зло просвечивало во всем его остром, испитом лице, в сивых жирных прядях, торчащих из-под обода фуражки; он наводил неясный страх. Белые пряди, будто седые. А может, и поседел; мудрено, видя столько смертей и самому убивая, остаться молодым и веселым.

Беловолосый, четкий, жесткий. Рослые к нему, малявке, оборачивались и перед ним вытягивались, как перед командиром.

Латыши перекинулись парой слов и замолчали. Револьверы, нагие, у них в руках. Только у Латыша на боку, в кобуре. Огромные руки стащили с головы фуражку, растерли шею и пригладили, прилизали белые спутанные волосенки.

Латыш обвел всех белыми глазами. Улыбнулся щербато. Длинные зубы, длинные и резцы, и клыки. Веснушки на птичьем носу-клюве собрались в грязный комок.

— Что примолкли? Боитесь?

Стрелок, сидевший на полу, покачал головой.

— Разве можно так спрашивать. Глупый ты.

— А я никогда и не был умным, — блеснул глазами Латыш.

Так в забое мигает свет шахтерского фонаря.

— Какая пустая комната! — воскликнул молодой латыш, держа наган на раскрытой ладони, как мертвую черную птицу. — Все вещи, что ли, отсюда вынесли?

Сидящий стрелок рассматривал револьвер у себя в руках.

— Хорошее оружие. Как у нас его много! Мы победим.

Латыш усмехнулся, а сидящий отвернулся, чтобы не видеть его усмешку.

— Ты в этом уверен, Роберт?

— Вот расстреляем сейчас русских владык, и все как по маслу пойдет.

Латыш прищурился.

— Как по маслу? А масло не прогоркло?

— Что за разговоры, — вмешался длинный, журавлем стоявший на смешно вытянутых ногах, до потолка головой достающий чекист. — Не суйте в публице панику.

Хрипло засмеялся.

— Эх, жаль, нельзя курить.

— В публице? В палачах, ты хочешь сказать?

Молчание обхватило всех крепко, как после разлуки. Губы на крючок, зубы на замок.

И молчали, темно и страшно, уже все: и Латыш, и Роберт, и длинный журавль, и все эти рослые крепкие люди, заброшенные в чужую страну, большую и странную, для того, чтобы ее ненавидеть, вспахать, убить и перекроить.

И чтобы никто никогда не узнал, что тут была Россия; это будет иное государство, с иной властью и иными, лучшими и чистейшими, людьми.

А может, власть будет другая, а люди все те же: подлецы, предатели.

...Старуха приподнялась на локте и нежно смотрела на лицо спящего мужа. Он спал крепко и сладко. Быстро засыпал, как всегда, а если разбудить — по-военному быстро открывал глаза и стремглав вскакивал с постели. И первым криком всегда было: «Солнце мое! Ну что, проспали? С добрым утром!»

До утра далеко.

И далеко, очень далеко отсюда стреляют; это артиллерия. Скорее бы. Скорей.

Легла навзничь на тощую подушку, а сон не шел. Может, и не придет сегодня. У нее часто бессонница.

За слепым стеклом окна затарахтела машина. Тяжелый грохот; видать, грузовая. Может, это им дрова привезли? Лето уральское странное, то жара, то холода, а ведь осень грядет. Через месяц-полтора здесь, говорят, уже первые заморозки.

Сердце билось ровно, но странные боли вот здесь, в подреберье. Как доктор Боткин говорит: шалит верхушка. Почему верхушка у сердца — внизу? Когда она сдавала экзамены на сестру милосердия, она досконально изучила книгу Дмитрия Зернова «Анатомия человека». Она все прекрасно помнила: правое предсердие, левое, правый и левый желудочки. Желудочковая аритмия самая опасная. Фибрилляция предсердий — с ней еще можно жить. Но, как смешно говорит ее Ники, мужлан и солдафон, хрен редьки не слаще.

Улыбка сморщила губы. Милый! Как он спит. Как сын на него похож.

Легкие, лепестки в тысяче кровавых пузырьков, полные воздухом. Трубка трахеи, бальные роскошные веера бронхов. Бронхит — это вылечивается, а бронхоаденит — не всегда. Она перевернулась на живот. Постель грела слишком сильно и странно, она лежала как на углях. Опять легла на спину. Пружины трещали. Суставы, сочленения костей, двуглавая мышца бедра, бицепсы и трицепсы. <...>

...Кожа и кости, нервы и мясо. Раненые в ее госпиталях, как стонали они на койках своих. И она подходила и клала им руку на лоб, и они просили ее: вот так подержи, сестричка. Сестричка! Они не знали, что она — царица. И ей было все равно. Ей даже радостно было, что они этого не знали. Не все человеку надо знать. Вот никто не знает часа своего; и это правильно.

Забинтовать рану. Наложить сначала марлю, пропитанную спиртовым раствором, потом вату, потом обмотать стерильным бинтом. Витки бинта ложатся, белая живая спираль вьется, успокаивает. Это как гипноз. Больной верит, что он выздоравливает; а ты веришь в то, что вылечишь его.

А ты помнишь, как они умирали? В тех твоих палатах бессонных, слишком чистых, тобой же и вымытых, — помнишь?

Стонали. Выгибались. Кусали, рвали зубами простыни. Орала, не стерпя мучений. Хрипели. Отходили. Ты садилась к изголовью, брала уже покрытые ликким чужим потом руки, отирала мокрые виски. Шептала: да примет Господь с миром чистую, безгрешную душу твою. Ты сама им грехи отпускала. Священник уже не успевал, да и не успел бы. Смерти приходили внезапно, их нельзя было уследить, расчитать. И ты была одна за всех. За батюшку. За врача. За сиделку. За мать, — ее умирающий звал искусанным, вспухшим, запекшимся ртом.

Мама! Мама! Ты где? Мне больно!

Я тут, шептала ты, я тут.

И наклонялась, и целовала умирающего бойца так, как целовала живого, любимого Ники.

Ники, прости мне! Я их всех целовала. Но я же целовала их души! Предсердия и желудочки упускали ритм, а душа-то жила, и она все видела и радовалась: вот он, последний поцелуй, последняя чистая любовь.

А ей кто даст такой последний поцелуй, когда она будет умирать? Кто? Ники? Дети? Нельзя об этом думать. Вообразать, где и как ты умрешь. Это запрещено. *Verboten*.

Муж простонал во сне. Она провела ладонью по его лбу. Боже, и он вспотел. Кто так щедро натопил печь? Теперь, летом? Эта кухонная баба, Прасковья? Но почему ее вдруг трясет, будто в лихорадке, в инфлюэнце, и больно и трудно глотать, и бежит к ней ее вечная мигрень, вот она, боль, рядом, и дня без нее не прожила, соскучилась!

Старуха положила руку себе на лоб. Закрыла глаза. Мы не знаем, отчего глаза видят, а уши слышат; тело — такая же загадка, как и душа, и жизнь — загадка, и время — загадка. Что там будет с нами после смерти? Господи, Ты один о том знаешь.

Опять грозно зарычал мотор и смолк. Во дворе не спали. Ну, у них, у охранных, свое хозяйство. Они их, убивая и мучая, берегут. Это так трудно совместить.

...Ермаков, со всклоченными адскими волосами и взглядом обезумевшего от одиночества филина, глядел сквозь стекло кабины грузовика. Подъехали к Дому. Окна горят в первом этаже. Во втором — темень, спят.

— Кто идет? — задавленно крикнул у ворот караульный.

Ермаков грубо распахнул дверцу.

— Трубочист!

Караульный загремел цепями и задвижками и открыл ворота.

— Въезжай!

Шофер подрулил к темной стене, мотор встал.

— Выходи, — сказал Ермаков шоферу тихо и жестко, — иди прочь и не оглядывайся.

Шофер, смерив Ермакова потрясенным взглядом, вывалился из кабины, как куль с мякиной. Потрусил к воротам. Исчез за ними.

Ермаков выпрыгнул из кабины и подошел к кузову.

— Эй ты! — Задрал патлатую башку. — Кудрин! Ты тут жив или нет?

— Жив.

Через борт кузова перекинул ногу человек. Ловко спрыгнул на землю, присел, спружинив ногами.

— Вот он я.

— Как настроение?

Ермаков жег Кудрина зрачками.

— Боевое. Какое ж еще?

— Это славно. У меня тоже!

Оба враз хлопнули друг друга по плечам.

— Сегодня великая ночь. О ней потом напишут в учебниках истории. Наши дети и внуки будут про эту ночь читать. А мы с тобой, ха, ее делаем. Вот этими руками.

— Да. Этими.

Кудрин поглядел на свои руки. Руки как руки. Плоские живые лопаты.

— Чур, царь мой, — сказал Ермаков.

Воздух со свистом выходил сквозь его зубы и ощеренный рот.

...Юровский шагнул в комнату, где ждали латыши. С Юровским вошли Петр Ермаков, Григорий Никулин, Павел Медведев, Михаил Кудрин и еще один — пулеметчик Алексей Кабанов. Все держали в руках оружие. У всех лица были чернее земли.

— Все в сборе?

Хриплый голос Юровского хлестнул воздух над головами.

— Все, — спокойно, даже лениво ответил Латыш.

— Хорошо. Готовы?

— Да.

— Нет!

Вперед шагнул сначала один рослый сивый латыш в фуражке, за ним другой, с голой соломенной головой.

— Это что еще?!

Тот, что впереди стоял, наклонился и положил на пол наган.

— Не буду стрелять в женщину и детей, — сказал, ломая язык.

Тот, что сзади, тоже вперед вышагнул и тоже револьвер на пол бросил. Железо лязгнуло.

— И я не буду... стрелять... в русских царьей.

Юровский сжал кулаки до побеления. Он не был готов к такому повороту. Но вот он, поворот; и срочно надо развернуть это авто и погнать туда, куда надо. Иначе все рухнет. И костей не соберешь.

— Йимах шмо вз-зихро! — Он выругался по-еврейски. И еще раз, по-русски, выхрипнул: — Проклятие!

Не двинулся с места. Сейчас главное — не заварить кашу паники. Бунт на корабле?! Ну это мы еще поглядим.

— Идите вон.

Старался быть спокойным. Латыши четко, жестко пропечатали шаг к двери. Вышли.

После них в комнате остался сложный запах махорки, пороха, пота и свежей васы. И кваса. И отчего-то — аптечной ромашки. Дверь моталась чуть приоткрытой, и в щель из коридора дул сквозняк. Шевелил безумную волосяную поросль на голове Ермакова.

— Возьми быстро из охраны! — крикнул Ермаков.

— Сам знаю. Никулин! Быстро приведи сюда, — соображал на ходу, — Люкина... и...

Лямина.

— Сейчас.

Никулин скрылся. Слышен был детский, медвежий топоток его сапог. Потом шаг замедлился, отяжелел. Половицы скрипели.

...Лямин стоял на посту. Пост номер три. Он все помнил, но как будто ничего не помнил. Так разуму было легче: знать, но не помнить. Или наоборот: помнить, но не знать.

Топот. Чьи-то тяжелые сапоги. Или тяжелый человек так тяжело, грузно идет. Никулин.

— Привет, Григорий, — холодными губами сказал Лямин.

Никулин злобно глядел на его красно-рыжую, без фуражки, голову.

— Идем, — загреб воздух согнутой рукой.

Лямин нагнулся, повернулся и поднял фуражку с пола. Нацепил на огонь волос. Пошли оба. Быстро, молча. Лямину винтовка стучала о лопатку.

«Что случилось? А что-то уже случилось».

Старался дышать не шумно, размеренно. Однако внутри все заколыхалось — так ураганный ветер гнет и трясет деревья, стремясь вывернуть с корнями.

Вошли в подвальную комнату с полосатыми обоями. Лямин увидел людей, и у всех в руках — наганы.

«Так вот как оно все это будет-то».

Сил не было даже слюну проглотить. Дышал носом, потом ртом. Легкие словно слиплись, так с трудом раздвигались при вдохе. Зачем-то здесь стоял еще и Сашка

Люкин. Сашка был лицом белый, будто щеки ему вымазали известью. Закрасили, как царское окно.

Юровский шагнул к Лямину и вложил в его руку наган.

— Держи. Будешь казнить.

Михаил зажал револьвер в холодной и потной руке. Ермаков стоял рядом с Юровским и держал два револьвера, в каждой руке — по нагану.

«А два-то зачем?» Внезапно понял. Сашка глядел на Михаила загнанным зайцем. «Сашка, какая я тебе сейчас помощь! Мне бы кто нынче самому помог». Все крепче, бесповоротней сжимал наган. Старался стоять на раздвинутых ногах крепко, влитом, чтобы не упасть. А пол ходил под ногами палубой в непогоду. Еще сильнее сжал — и решился. Как трудно было это произнести! Но он произнес. Каждое слово выдавливал отдельно и, сказав, ждал. Чтобы сил для другого хватило.

— Я. Не буду. Стрелять.

Наган сам вывалился из руки и грохнулся об пол. Мишке показалось — пол сейчас развернется, аки земля на Страшном суде, и в трещину провалятся все они, тут стоящие, и адские гады и огонь подземный весело, торжествуя, их пожрут.

Юровский неожиданно ловко и быстро наклонился и поднял наган с половиц. И опять терпеливо, будто втемяшивал дитенку трудный урок, втиснул оружие обратно в руку Лямина и сам загнул, чтобы держали крепче, и зло сжал его бесчувственные пальцы. По лицу Юровского сначала бродила, потом застыла ледком ночного заморозка дикая усмешка.

— Нам не нужны труссы.

Мишка хотел крикнуть: нет! — и увидел, как Юровский расстегивает кобуру.

«Все. Мне конец».

Наган обжигал ладонь то льдом, то пламенем. Это уже не оружие было. Что он держал? Он не знал. И лиц этих людей он не знал. Он их только мучительно вспоминал и вспомнить не мог.

Юровский уже вынул свой револьвер из кобуры. Не сводил глаз с Лямина.

— Я не трус, — сказал Лямин чужим, не своим голосом.

— Ну вот и отлично, — Юровский засунул револьвер обратно в кобуру.

«Поговорили».

Безумный Ермаков, волосы у него на голове шевелились черными змеями, а глаза выпучивались чудовищно, совсем уж страховлюдно, подступил к Сашке Люкину и тоже вложил ему наган в ладонь.

— Все понял?!

— Нет! — закричал Сашка и вправду как в тайге подранок.

— Ну так сейчас поймешь!

Теперь Ермаков выхватил из кобуры наган и прислонил ствол ко лбу Люкина.

— Или ты, или они!

— Выбора нет, — на ломаном русском неожиданно, тихо и скрипуче, сказал Латыш из угла комнаты, там он на корточках сидел у стены, — это приказ! Жить хочешь? Будешь стрелять!

Сашка заплакал, как ребенок, и тихо, медленно согнул колени и тоже опустился на корточки. Так сидел, и плач был, а слез не было. Только трясся. Со стороны поглядеть — человек смеется: то ли над собой, то ли кто удачно пошутил.

...Михаил не знал, что полчаса назад тут, в этой же самой комнате с полосатыми обоями, на стол положили пистолеты и револьверы Павел Еремин, еще три стрелка и Пашка Бочарова. Еремин, глядя раскосом и жестко, медленно выговаривая слова по слогам, отчеканил: каз-нить не бу-ду. Выковырял наган из кобуры и брякнул об

стол. Пашке всучили маузер, она долго вертела его, разглядывала длинный ствол и черную коробку магазина. Усмехнулась. Стерла усмешку с лица, шагнула к столу. Швырнула маузер. Что она сказала тогда, глядя глаза в глаза Юровскому, — Лямин никогда не узнал.

* * *

Лямин косился на Алексея Кабанова. Меж солдат ходил слухок: Кабанов когда-то царским гвардейцем служил. Лямин однажды пристал к Кабанову: скажи да скажи, в каком полку у царя состоял. Кабанов нехотя ответил: в Конном, только ты больше никому из наших не брещи, ладно? Лады, ответил Мишка и сдержал слово.

Кабанов тоже косил глазом, как конь, на Михаила.

«Он видел мою трусость. Черт, да это ж разве трусость! Я — и царей казню! Непредставимо».

«Да ты же сам согласился... там, в гостинице... на сговоре...»

«Лучше бы тогда не согласился. Лучше бы тогда убили».

«Не ври себе!»

Кабанов вертел револьвер в руках. Рассматривал его, потом опять взглядывал на Лямина. Шагнул к Мишке.

— Ты не дрожи.

— Я не дрожу.

— Дрожишь, я же вижу.

— Ты по-прежнему с пулеметами? Начальником?

— Да. Стрекотин под моим началом.

— Видишь, как все... — Лямин сжимал наган и уже не чувствовал его в онемелой руке. Ни железа, ни механики; ни тяжести; призрак один. — Вышло.

Кабанов повел головой вбок, как цапля на пруду.

— Да еще ничего не вышло.

— Разговоры отставить! — крикнул Юровский.

И придавило, как падающий неотвратимо потолок, молчание.

— Я пошел будить их!

Юровский прошагал к двери. Они, все двенадцать, смотрели, как он выходит.

Смотрели на дверь, как в церкви люди смотрят на икону.

Через минуту они услышали по всему Дому электрические звонки.

— Будит, — бесслышно выдавил Сашка.

«Сейчас встанут и оденутся. Это еще минут пятнадцать. Еще долго».

Минуты стали растягиваться в месяцы, в года, и это было прекрасно.

...Звонки гремели, человеческий твердый, костяной кулак настойчиво стучал в дверь.

За дверью — шаги. Почти неслышные, мягкие. Тот, кто шел к двери, шел в домашних тапочках. Дверь отворилась.

Доктор Боткин на пороге стоял отнюдь не заспанный. Да, в домашних туфлях, но не в шлафроке — в легком пиджаке, в летних светлых чесучовых штанах. Будто посидеть собрался на пляже, под белым полотняным зонтом.

— Доброй ночи, товарищ комендант. Однако поздно!

Ни удивления, ни радости на лице. Спокойно лицо и бестрепетно.

Фельдшер стоял перед доктором и вдруг испытал громадной силы унижение и дикий, нечеловеческий гнев: он все равно выше! Все равно! А я, я — ниже!

Унизить. Мордой — да в навоз. Хорош их навоз, смерти! Навознее не придумать кучи.
— Срочное дело.
— Какое?

За спиной доктора виднелся неубранный стол, и на столе — свеча и лист бумаги.
— В городе волнения. Ждем с минуты на минуту военных действий. Вас всех необходимо переселить из ваших комнат вниз. В подвал. Там вам будет безопаснее. Быстро одевайтесь и пойдете.

Боткин оглянулся на недоконченное письмо.

— Хорошо. Я сейчас разбужу всех. Сладко все спят, ведь глубокая ночь.

И опять ни трепета, ни испуга, ни изумления на вежливом, добром и спокойном лице. Как великолепно владеет собой, обозленно думал Юровский.

Боткин постучал в спальню царей. Распахнул дверь и вошел.

Царица лежала на спине, с закрытыми глазами. Боткин подошел к кровати и осторожно потряс ее за плечо.

— Ваше величество. Проснитесь. Проснитесь.

А проснулся царь. Он уже глядел на доктора глазами крупными, плывущими, водяными, бессонными.

— Доктор. Милый. Что стряслось?

Боткин прерывисто, как ребенок после плача, вздохнул.

— Ничего страшного. Ждут входа войск в город. И боятся. Нас приказали перевести в нижний этаж. Приготовили комнату. Придется встать и одеться.

— Среди ночи, какая жестокость.

— Это не жестокость, ваше величество, а необходимость военного времени.

Царица охнула, перевернулась на бок и открыла глаза.

— Где я?

— Дома, родная, дома.

Царь поцеловал ее в лоб.

...У Лямина слух обострился неимоверно. Он стоял около открытой двери, глядел на полосатые обои. Слышал, как наверху Боткин громко говорит: «Ну вот и хорошо, и все проснулись!»

...Ему казалось — он слышит шорох ее снимаемой, сдергиваемой с груди и плеч ночной сорочки. Слышит, как волосы, увязанные на ночь, выползают из-под повязки, текут на плечи. Слышит, как она тихо и стыдливо зевает и тут же закрывает рот.

Слышит, как она говорит какой-то из сестер: «Завяжи мне здесь!»

Кому? Ольге? Татьяне?

«Где? Где тебе завязать? А лучше б развязать».

Почему-то не только слух обострился. Он ярко и ужасно понял — сейчас ее не будет, скоро, вот уже через час, через полчаса, — и понял, что этой потери не возместит ему никто: ни Господь Бог, ни революция, ни светлое будущее, до которого — палкой не добросить; никто из людей, известных ему или еще неизвестных.

«И ни обнять. И ничего уже не сказать».

Он ощутил проклятие мужчины, проклятие летучего, беглого зачатия и потом — одиночества; проклятие расплаты за несколько секунд великой боли-радости — а платить надо всем самым дорогим и тяжелым: сердцем, разлукой, жизнью. А жизнь, она и есть время. Где оно сейчас? «Эй, время, где ты?» Не идет. Встало.

«А я даже с ней не переспал. Не сумел».

...Вдруг ясно, остро понял: и это даже хорошо, что не переспал, и понял еще: спанье это людское, это совместное колыханье в койке — это не самое важное;

что-то еще должно быть сверху этого, над этим, какой-то ясный негасимый свет, и если этого верхнего света — над людскою случкой — нет, значит, и ничего нет, никакой любви и никакой памяти.

Не слухом — нутром, печенками всеми слышал, как одеваются все они. Толпятся живой ночной мошкаррой, людским комарьем. «И то правда, человеки — те же мошки, пчелы, муравьи. И приходит время-великан, и наступает ногой на все наши людские выдумки, дома, любви, и рушит все, и растаптывает».

Зашептал невнятно, бредово:

— А я заяц, ухо с палец... А я волк, зубами щелк... А я мышь, из угла в угол кыш... А я медведь, вам всем пригнетыш...

— Полчаса уж вожгаются, — вспыхнул рядом махорочный огонек Сашкиного голоса. Лямин шатнулся.

— Эй, друг, ты што?.. уже принял?

— Уйди ты.

— Э, не кладай зубенками. Уж поздно. Нету назад дорожки.

Лямин услышал голос Юровского:

— Ну все? Оделись? Ступайте к лестнице!

— Глаза бояцца, руки делают, — тоскливо, серо сказал Сашка.

Они спускались. Он слышал шаги. Шагов много. Нестройные. Шли тихо, а Лямину казалось — бьют в барабаны. Это бились внутри него его потроха. Вся революция сделалась странно маленькой, померкла, гляделась козявкой, ничтожным дельцем, ради которого не стоило и огород городить. Малой дитячьей забавкой — рядом с тем огромным и страшным, что им предстояло сейчас совершить. Еще было время уйти от этого; не совершать этого. А как? Было несколько выходов, и все эти выходы Лямин живо прокручивал подо лбом. Лоб соображал туго, словно с натугой и скрипом двигалась старая, век простоявшая в конюшне телега.

Выход первый: убежать. «Куда? Все ходы перекрыты. Через забор буду сигать — меня на постах увидят, моментом подстрелят. Посты-то ведь никуда не делись». Выход второй: уже наотрез отказать, встать перед Юровским и бросить наган на пол. И ждать, пока он вынет свой и застрелит его. Еще третий выход был: застрелиться самому. Вот, пожалуй, и все, и все три выхода — под пули. Ни одного — под жизнь и воздух. «Проклятие. Чепуха какая. А как все это случилось?»

Жизнь внезапно и резко отмоталась, как пленка в синематографе, назад, и он увидел себя — в Буяне; себя на фронте; себя в рядах Красной гвардии; себя — в Тобольске, и вот здесь. Рядом призраком моталась Пашка. Ее лицо вдруг засветилось и взорвалось прямо перед ним, и он зажмурился от вспышки. Пашка! Она где-то рядом. Сколько с ней пройдено всего! С виду немного, но каждый из этих дней с ней за год сойдет. Но как же он оказался здесь, вот именно тут, в Доме? «Последний их Дом. А может, и для меня последний». Думал о себе холодно, отстраненно. Как не о себе.

Да, он не знал, как все это получилось. Не понимал. Дороги сплетались и перегибались, схлестывались. Разбегались. Делали петлю и снова возвращались к старому. Нет, это новое искусно притворялось старым. Ничего нет того, что повторилось бы.

Он не понимал, где он ошибся, куда неверно ступил; везде было болото, и везде, куда ни сунься, было только с виду бодро и радостно, а копни — там гниль, измена, предательство. Обман. Ложь. Много он видал лжи. И она все никак не умирала. Умирили люди, их убивали, и чем дальше, тем свободней и бестрепетней, — а вот ложь — оставалась. Живучая. Наглая. И люди друг перед другом изощрялись, чтобы обмануть повыгодней, чтобы приукрасить серое, гадкое и дохлое. «Боже! Господи!»

Шаги, смешиваясь и дробно переплетаясь, раздавались совсем близко. Голос Юровского крикнул:

— Стойте здесь! Ждите! Я сейчас!

И раздались только одни шаги. Юровский шел.

...Латыши стояли густым высоким лесом и правда смахивали на мачтовые корабельные сосны. Сапоги Юровского подгрохотали к двери. Лямин еще не видел у него такого лица: глаза и губы узкие, почти татарские, скулы каменные, как у памятника.

— Всем перейти в соседнюю комнату, — сказал Юровский быстро, тихо и хрипло. — Только тихо. Сапогами не греметь. Оружие на пол не ронять.

Сначала латыши, потом Никулин и Ермаков, потом Кабанов и Медведев пошли к двери. Последними вышли Сашка и Лямин. Сашка воровато сунулся к Михаилу и еле слышно шепнул:

— Вот бы сейчас бы!

«Сбежать. О том же думает, о чем и я».

Соседняя комната — это была кладовая. Там, где Пашка сказала ему о ребенке. Ребенок — это же бред и сон. Это тоже наглая ложь. Живот у нее не растет, и пятен на роже нет, и вертит она задом перед мужиками. Ему казалось: ребенок — это что-то святое, и женщина тут же должна сделаться и чистой, и важной, и спокойной и двигаться не в мире, а над миром. Ведь она носит жизнь. А тут — все та же Пашка; и все то же ее тайное, он только знает какое, бесстыдство, распутство.

Они все ввалились в кладовую, и латыши — они шли первыми — тут же наступили на иконы. Дерево хрустело под подошвами, под каблуками. Латыш, тот, белый и плюгавый, нагнулся, выдернул из-под сапога треснувшую пополам икону святого Николая.

— А! Николка!

Повертел икону в руках. Притворился, что хочет зашвырнуть в угол. Сашка в ужасе схватил его за руку.

— Дурак ты! — зашипел. — Велено же тише!

— Сам дурак, — сказал Латыш и показал желтые, длинные, лошадиные зубы.

Одинокие шаги стихли, и послышался опять хор шагов. И хор голосов. Они шли и переговаривались меж собой — тихо, по-ночному. Кто по-русски, а кто и по-табарбарскому.

Никулин сел на пол кладовой. Рядом с ним тускло светился кирпично-темной медью баташовский самовар. На бок самовара падал луч света из дверной щели. Никулин пощелкал ногтем по погнутой старой меди, испещренной ямками и клеймами.

— Ишь ты... с медалями... тульский...

— А вот на Урал залетел.

Павел Медведев тоже звонко щелкнул ногтем по медному выгибу.

— Эй, кончайте стучать.

Кабанов сделал грозное лицо. Никулин погладил самовар, как кот.

— Да ладно тебе.

Лямин и Сашка стояли у двери. Не садились ни на пол, ни на старые стулья и кресла. Иные стулья были перевернуты, ножки торчали вверх. «Это не стулья. Это мертвые козы, свиньи, лошади. Телята. Валяются. Это мы их убили».

Латыш шагнул к Лямину и сказал, вроде как не Лямину, вроде в пространство:

— Там перегородка деревянная. Хорошо. Не будут пули отскакивать.

Лямин глядел ему в лицо, не понимая ни слова. Латыш ухмыльнулся и стал еще противнее.

— Рикошетов не будет.

Лямин сделал вид, что не понял, хотя теперь он понял все. Латыш говорил по-русски с ужасающим акцентом.

...Они шли — так идут вокруг церкви крестным ходом.

Впереди шел царь. Он нес Алексея на руках. Царь в гимнастерке, и сын тоже. На головах военные фуражки. Мальчик так любил военную одежду. Он воображал себя полковником, подобно отцу; и все свое детство проиграл в войну, в солдатики.

Два оживших солдата из его старинной царской игры. Оба в военной болотной амуниции; оба воины. Но зачем они так смиренно идут? Воин должен сражаться. О, иногда воин и молится. Например, перед дальней дорогой. Или перед тяжелым боем.

Аликс и девочки — что они могли надеть спросонья? Только платья, без кофт, жакетов и плащей; их же никуда не везли, им просто приказали перейти в нижнюю комнату, и все.

— Евгений Сергеич, я не поняла, что сказал комендант?

— Он сказал, что всем нам надлежит сфотографироваться. На всякий случай, ваше величество. Мало ли что.

От этого «мало ли» у нее заалели щеки. Царь обернулся и даже в тусклом коридорном свете увидел эту краску на щеках. Из-за плеча сына послал жене ласковый взгляд. Взглядом можно погладить и воскресить; а можно и убить.

— Солнце, тебе не тяжело?

— Папа, я сам пойду! — возмущенно и громко сказал Алексей.

Царь плотнее прижал к груди сына. Они спустились по лестнице и вышли во двор. Тата глубоко вдохнула свежий летний воздух.

— У меня легкие, наверное, стали на тряпки похожи... я хочу плавать, купаться...

— И я!

Анастасия задрала голову и смотрела на звезды. Мария смотрела в лицо Ольге. Ольга молчала. Мария поглядела на мать. Она шла рядом с ними, с матерью и старшей сестрой.

— Какие крупные звезды, — беззвучно сказала Мария. — Какая ночь.

— Эти звезды на миг, — так же неслышно отозвалась Ольга.

Мать шла между ними и молчала. Они обе слышали только ее дыхание. И обе, с разных сторон, смотрели на ее профиль: тонкий, светлый, намалеванный чьей-то безумно влюбленной кистью на старой доске, истлевшей за старым шкапом, за занавесями паутины.

Открылась дверь в нижний этаж. Они переступили порог. Царь и цесаревич, Тата, Настя, Ольга, царица, Мария. Боткин, девица Демидова, повар Иван Харитонов, лакей Групп. Все несли в руках подушечки, любимые вещицы; подушки — чтобы сесть мягче, голые стулья холодят зад и хребет, а безделушки — чтобы с ними навек сфотографироваться. Мария вошла последней и закрыла за собой дверь.

Не плакали. Не рыдали. А что плакать, наоборот, радоваться надо. Сейчас будет битва. В город войдут светлые, царские войска. И Россия вернется. Россия не может умереть. Она не может умереть так просто, бесславно. Если умирать, то со славой. А комната-то угловая; а говорили, что кладовую опечатали, а на ней не висит никакого замка. Полосатые обои стекали вниз темными и светлыми ручьями. Под потолком горела электрическая лампа, внутри нее мигала и опять разгоралась красная тонкая спираль.

Царица огляделась и грустно спросила:

— Что же, все голое? И стульев нет? Разве и сесть тут нельзя?

Юровский крикнул в коридор:

— Эй! Принести два стула!

Стрекотин — он стоял на посту — тут же отозвался:

— Есть принести два стула!

Стрекотин подошел к кладовой. Засунул голову в дверь.

— Эй вы, кто-нибудь, стулья принесите. Я на посту.

Никулин поднялся с пола. В зубах у него торчала сухая травинка. Он сосредоточенно грыз ее.

— Я принесу. Сидите все спокойно.

Лямин отодвинулся от двери, пропуская Никулина.

«До чего он спокойный. До чего тут все спокойные. Особенно латыши. Я-то что же зуб на зуб не попадаю?»

«Да никто тут не спокойный. Все просто притворяются спокойными. На самом деле все трясутся, как заячьи хвосты. Сколько ни убивай человек, убийца перед новым убийством сокрушается. Или это я один такой? У меня тут у одного — сердце? А все остальные тогда кто? Машины? Камни? Вот Латыш — он камень, да?»

— Кресло, видишь ли, понадобилось царенку. В кресле хочет умереть.

Никулин исчез.

Лямин хотел плюнуть ему в спину.

Никулин принес два стула и внес их в комнату, где ждали все они. Зло, со стуком поставил стулья посреди комнаты.

— Кресел нет, уж извините.

Мария положила на сиденье стула подушечку. Николай очень осторожно посадил сына на стул. Он сажал его так, будто роды принимал; будто — на руки — новорожденного брал.

— Удобно тебе, сынок?

Цесаревич обернул к нему бледное лицо.

— Удобно, папа.

Распухшее колено выпирало под брючиной.

Александра Федоровна, подстелив под себя вышитую думку, села на стул рядом. Села тяжело, грузно, но тут же выпрямилась, подала вперед гордую грудь, вытянула и выпрямила шею — и сразу сделалась другой, светлой: царицей. А не усталой старой женщиной, разбуженной посреди ночи. Мешки под глазами. Вечная мигрень. Солнышко, как твоя голова? Милый, я все перетерплю, лишь бы ты был радостен и спокоен. Они все были на удивление спокойны.

— Встаньте в ряд! — крикнул Юровский.

Они спокойно, плавно, без паники и суеты, стали сами себя в этой подвальной комнате по местам расставлять. По тем местам, которых они не знали, но о которых догадывались в самый последний миг. И вставали там и тогда, где и когда их эти половицы, эти стены и косяки ждали. Им что-то говорил комендант, куда-то приказывал становиться, велел то, велел се, — они слышали и не слышали; они двигались так, будто их кто-то великий и сильный водил сверху, будто у каждого под мышками была продета веревка, и за эту веревку тянут, — ведут, направляют.

В комнате — арка. Арка — это красиво и торжественно. На фотографии все красиво получится.

Царица села на стул ближе к окну. Три дочери встали за ее спиной. Царь стоял в центре комнаты. Рядом с ним на стуле сидел сын. За стулом Алексея встал доктор Боткин. Боткин, невысокий, всегда чуть привставал на цыпочки, когда фотографировался в ателье, чтобы быть выше и выглядеть значительней. Девушка Демидова застыла у дверного косяка. Эта дверь вела в кладовую. Рядом с Нютой Демидовой встала Анастасия. Она отчего-то нашла и крепко пожала холодную Нютину руку. В другой руке Нюта держала подушку. Когда Анастасия выпустила ее руку, Нюта обняла подушку обеими руками. Анастасии показалось: Демидова хочет уткнуться лицом в подушку и разреваться.

Юровский стоял в кладовой. Он грыз ногти. Никулин двинул его локтем в бок.

— Брось, товарищ. Ты не ребенок.

Юровский обернулся и посмотрел на Никулина взглядом злого ребенка.

— Замолчи.

Замолчали.

Дверь приоткрыли, и латыши столпились в проходе, шупая, оглядывая револьверы. За громадными, как гранитные плиты, черными кожаными плечами латышей топтался Павел Медведев.

— Все всё помнят, кто в кого стреляет?

«Проверяет. Страхуется».

— Да все, все.

— Кончай уже эту веревку вить.

— Устали все уже.

— Я будто не устал, — Юровский показал зубы, как загнанный волк. — Цельтесь прямо в сердце, чтобы меньше крови!

— Мы поняли.

Люкин глядел кругло, по-детски, его будто насильно вынули из теплой постели и сунули головой в огонь, в пожарища. Лямин размалывал молчание зубами, оно скрипело и крошилось.

Юровский тихо и отчетливо бросил в духоту кладовой, и слова отскочили от стен и зазвенели:

— Иду к ним. За мной в комнату входит Никулин. Это фотограф.

— Я фотограф, — сказал Никулин и коротко, лающе хохотнул.

...Юровский вошел в полосатую комнату и сказал спокойно и веско:

— Так, хорошо! За царями — их слуги! Хорошо!

Они все молчали. И смотрели вперед. Их лица были спокойны.

Спокойны? Может быть, Юровскому так казалось?

...— Мама, когда же внесут фотографическую камеру?

Татьяна спросила это тихо, но голос разнесся по тишайшей комнате, оттолкнулся от тесных углов, прополз пауком по обоям. Мать молчала.

Они стояли, и Юровский обвел их всех пронзающим потроха взглядом; а может, глазами слепыми и деревянными. Он сам не знал, видит он или не видит их лица, фигуры, юбки, гимнастерки; ему все чудилось, и видение тут же становилось громадным, грубым настоящим.

— Фотографический аппарат, — прошептал наследник, — у нас они его украли.

Это шепот слышал только он сам. Больше никто. Отец видел, как шевелятся губы мальчика.

...Лямин стоял за Медведевым. Хрипло, воспаленной гортанью дышал Кабанов. Сашка Люкин так зажал в руке наган, что костяшки пальцев стали синие. Латыши шагнули вон из кладовой. За ними из коридора пошел постовой Стрекотин. Сапоги не стучали — издавали шорох, будто по половицам ползли черви.

«Змеи. Вот они, змеи-то. Это — мы». Он разгадал свой сон про гостиницу и сговор. Поздно. «Это был не сон. И вот это — тоже не сон».

«А вдруг сон! А вдруг!» — «Ты этого уже никогда не узнаешь. Жизнь, может, это тоже сон».

Двустворчатые двери комнаты распахнулись. Для одной двери слишком много народу. Всем в дверях не уместиться. Кто-то будет стрелять впереди. Кто-то — сзади. «Я сзади. В кого бы из наших не попасть ненароком». Ужас внезапно провалился в подпол. Остался один холод и ледяные четкие мысли в нем.

Ермаков резанул воздух двумя словами:

— Я сейчас.

...Он, патлатый более обычного, уже настоящий ужас наводящий полоумной рожей, подбежал во дворе к грузовику и закричал шоферу:

— Давай!

Люханов включил мотор, он загудел неистово, оглушительно.

* * *

Юровский обернулся через плечо.

Крикнул:

— Входи!

А они все уже и так вошли. «Латыши первые. Зачем латыши? И этот, плюгавый, вон он, в первых рядах». Он видел его затылок. Его плохо выбритую шею под черной фуражкой. Сивые волосы торчали, как жесткая конская грива.

— Мотор как тарыхтит, — пробормотал Сашка.

Латыши стоят в комнате. Никулин, Медведев и Кудрин — в дверях. За ними — Лямин и Люкин. Вперед протолкался Ермаков. У него было глиняное лицо. Встал рядом с Юровским. Вплотную. Ермаков ощущал, как Юровский дрожит. Очень мелко, будто стоит в трюме корабля, а вокруг вибрируют машины: ходят рычаги, крутятся колеса и шестерни. Машина работает, грохочет, лязгает, колеса вращаются, шестерни зацепляют зубьями плотный, промасленный воздух, черную гарь. Лязг и вздрог. Лязг и стук. Лязг и вопль. Железо бьет о железо, машина работает, она запущена, и ее не остановить.

Наган в руке Лямина превратился в мертвый стук. Он состоял не из стали. Из косной, навек умершей материи, имени которой на земле не слышали.

...Лямин едва дышал. А ему казалось, он дышит хрипло, громко, оглушительно, на весь подвал слышать, на весь дом, — он ловил ртом воздух и все никак не мог поймать, воздух утекал и ускользал у него из ноздрей, из губ, у него голова перестала рождать мысли, а вместо головы что-то такое тяжелое, горячее, черное стало думать внутри него: может, это было голодное чрево, а может, сердце или то, что еще осталось, застряло у него меж ребер вместо сердца, — он не знал. Это черное, и тяжелое, и пылающее головней, этот странный черно-красный, горячий сгусток думал вспышками боли, и эти вспышки странно слагались в отрывочные, разорванные, оторванные от прежней жизни слова.

Боль. Скоро. Подлые. Нет. Пуля. Прежде. Уйти. Убежать. Убить. Кого? Здесь. Везде. Всегда. Зачем? Надо. Горько. Ложь. Правда. Будет? Было! Есть. Да. Нет!

Нутро взорвалось и закричало: нет! — и Лямин чуть приподнял над ногой наган, ствол его был как живой, он вертелся сам по себе и вздрагивал сам, Лямин обернулся, и навстречу ему из тьмы полетело странно яркое, красно горящее и вместе с тем черное, угольное лицо Юровского.

Дыхания двенадцати смешались. Людская машина работала не хуже железной. Жила, дышала, двигалась. Шестерни и рычаги. Руки и головы. И ноги, ноги. В сапогах. Юровский шагнул вперед. Правая его рука уткнулась и утонула в кармане брюк. В левой он держал бумагу. Бумага мелко дрожала.

Лямин услышал скрип половицы под его сапогом. «Будто чайка над рекой прокричала».

— Ввиду того, что ваши родственники продолжают наступление на Советскую Россию, Уралсовет постановил вас расстрелять!

Николай стоял лицом к этим вошедшим в комнату, чернокожаным людям. Он даже не успел рассмотреть и осознать, что у них в руках — револьверы. Зато Александра рассмотрела. И — не дрогнула ни лицевой мышцей, ни кожей, ни пальцами. Дышать чаще не стала. Только сердце, голубь, взлетело и ухнуло куда-то в синюю жаркую бездну.

...это Ной выпустил из ковчега голубя на землю.

...повернулся к чекистам спиной. Глядел на всю семью свою, любимую.

...глаза Ольги, честные, печальные.

...затылок сына. Как спокойно мальчик сидит! Не шелохнется.

...Тата руки в кулаки сжала. Детка! Держись!

...Настя напугана. Кажется, она поняла.

...my Sunny, а ты?

...глаза Маши. Машка! Вот и все.

...Юровский, читая эти слова, а он их все уже выучил наизусть, не дрогнул ни умом, ни душой, ни телом, ничем; он здесь, в подвале, был странно заморожен — будто мороженая рыба, будто твердое бревно огромного осетра зимой, у проруби, убитого багром по голове осетра. И вот этот мерзлый осетр внезапно воскрес, и умеет читать, и потешно стоит стоймя, и держит в плавниках важную бумагу, и читает по бумаге, шевеля круглым усатым ртом, приговор этим людям — отжившим свое, отплевывавшим свое на золотых балах, никчемным людям. Да хватит, одергивал он себя, читая приговор, да люди ли они? это они — люди? это он — человек, проклятый царь, уничтоживший столько народу в своих войнах, на виселицах и в застенках, это она-то — человек, гадкая царица, она путалась с Распутиным, путалась с кем угодно, она продавала и предавала, и это ей — на свете жить? нет, ей — не надо, ей на свете, этакой гадине, жить — запрещено! И читал дальше, и дочитал до конца, а когда настала тишина, он почему-то подумал про цесаревен: и эти, эти — тоже нелюди, жрали и пили с золота, дрыхли на серебре, выдали бы их замуж за иноземных царей-королей, и они так же, как все ее предки, мордовали бы, истязали, изводили, убивали народ. Свой? Чужой? Все равно. Все равно? Нет, этого нельзя. Этого нельзя, шептал он сам себе, нельзя никогда этого допустить, мы лучше убьем их всех здесь и сейчас, здесь и сейчас. И делу конец. Ай, молодец. Это я молодец.

Часы тикали в тишине. Серьги с поддельными алмазами и броши с поддельными сапфирами сверкали в тишине. Коричневые, как крепко заваренный чай, фотографии с виньетками красовались в витрине ателье в тишине. Лекарство капало в мезурку в тишине. Хирургические скальпели блестели в тишине. Страницы великих книг про революцию, кровь и слезы шуршали в тишине. Патроны падали в магазин маузера в тишине.

Вся его жизнь прошла в тишине, а вот теперь можно и погрохотать.

Он слушал тишину и радовался: они, гады, услышали, они все поняли. Они готовятся.

Он стал искать глазами лицо царя, а когда нашел, стал искать его глаза — и нашел глаза, и воткнул в них свои глаза, нет, он не пытался его испугать или пригвоздить глазами, сейчас это за него успешно и быстро сделают пули, — он просто хотел поглядеть глубоко, очень глубоко в глаза человеку, которого он сейчас убьет, вот сейчас, сей момент, а этот человек был самым первым человеком в России и одним из первых в мире — еще вчера.

Аликс головы не повернула. Смотрела вперед, прямо перед собой.

Повернулся сын. Он повернулся всем корпусом на этом неудобном, жестком стуле и поглядел на отца. Отцу в лицо. В глаза. Ловил его глаза. И не поймал. Царь сделал шаг назад и опять встал лицом к Юровскому, латышам и солдатам.

Голос вылетел из него птицей, птица ударилась грудью сначала об одну стену, потом о другую, потом о потолок.

— Что? Что?!

Лицо Ермакова перекоилось.

— Читай еще раз. Внятно! Не услышали!

Юровский приблизил к лицу бумагу. Он наизусть знал написанное там.

Он хотел заслонить этой бумагой лицо, потому что лицо вдруг стало страшным, и он знал, что оно — страшно. И хотел его закрыть, спрятать, чтобы не видели и не ужасались другие.

Пока еще живые.

— Ваша родня продолжает наступать на молодую Советскую республику! И Урал-исполком! Постановил! Расстрелять... вас!

Царь развел руками и опять повернулся к семье.

— Как? Зачем?!

Кажется, это крикнула Нюта Демидова.

Цесаревич не кричал. Но крепче сжал губы. Но весь странно потянулся, вытянулся, будто хотел встать и не мог. А может, он и вправду не мог.

— Не верю!

Это крикнула Тата.

— Боже... я так и знал...

Доктор Боткин.

— Папа!

Настя.

— Не может быть.

Ольга.

— Мама, родная... это неправда...

Маша.

Аликс подняла к нему лицо.

Он увидел ее глаза.

У них обоих были глаза похожи: у нее водяные, речные и без дна, и у него тоже.

Юровский обернулся к стрелкам и крикнул задушенно:

— Готовься!

...Царь глядел в лицо Юровскому, и он не узнавал это лицо, напротив него стоял не человек, а странная, дикая, черно-красная масса, красный рот двигался, черная куртка дергалась и шевелилась, и царь подумал страшно и быстро: вот и все, — но человеческое тесто напротив вздувалось и вспучивалось, и он еще успевал думать сразу обо всем, обо всей своей жизни, обо всех родных и любимых, обо всей стране, обо всей земле, он обнимал все это последней смертной думой — и хотел молиться, но вместо этого сам обратился в молитву; он стал молитвой, стал словами, что тысячу, сотни тысяч и бесчисленно раз повторяли людские губы, ими, этими словами, бессильно плакали людские сердца, и так хорошо ему было быть молитвой, так сладко и чисто, по-настоящему чисто и правильно, праведно, — и он еще успевал поблагодарить за это чудо, но кого, теперь уж он не знал, потому что в нем, в молитве, которую он стал, таких слов не было; и он молитвой вис в воздухе, растворялся, тек, стаивал, застывал прежде горячим, а теперь зимним свечным воском.

И он, вернее, то, чем он стал сейчас, молитва, — он достиг, пламеня и застывая, рта, губ жены, достиг ее яремной теплой ямки и нательного креста в ней; и она шептала молитву, шептала бессвязно, торопливо, и горячей слезной молитвой, самим собой, всем собою, он целовал напоследок эти любимые, морщинистые губы.

— Господи!

Царь сжал кулаки. Александра подняла руку. Она хотела коснуться руки царя, но не коснулась.

Улетала, плакала голубка.

— Прости им, ибо...

По глазам цесаревича словно ударила молния, и он зажмурился.

— Не ведают, что творят...

Юровский вырвал кольт из кобуры. Вскинул руку и прицелился в царя.

Пуля ушла сразу. Царь слишком близко стоял. Не попасть было бы смешно. Царь пошатнулся и стал падать. «Как все просто. Боже! Как же все просто у Тебя!»

Все стали стрелять. В комнате раздался грохот, и она стала заволакиваться сильным дымом.

Ермаков сделал к царю огромный шаг. Его рот превратился в пасть, и она, кривая и косая, неожиданно заняла все лицо; поглядеть — так смеется человек взхлеб. Ермаков тоже выстрелил в царя. В упор. Когда он уже падал.

За сутулым плечом кособокого Ермакова стоял Михаил Кудрин. И он тоже выпускал пули в царя. Из старого браунинга. Одну, вторую.

Царь лежал на полу. Из его ран текла кровь.

Лямин понял: они тут все, все до единого, сперва стреляли в царя. Так много ран. Много крови. «Юровский же просил, приказывал: чтобы крови не было!» Приказ не исполнен. Все стрелки палили в одного человека.

...Может быть, и хорошо; сразу умер; счастье ему.

...И царица повторяла, все повторяла слова молитвы, и забывала их, и ужасалась этому; она внезапно все забыла, и себя маленькую, в пеленках и распашонках, и себя — невесту, и себя — в родах, и себя — с лицом в морщинах, с опухшими до колен ногами — в этом тряском возке, едущем по ледяной весенней Сибири; она

помнила только одно: дети тут, Бэби тут, и разве это возможно, чтобы их убили? Нет! Это же никак невозможно! Это кто-то страшный, черный, красный, криволицый, придумал, и напрасно он наводит наган, и зачем эти ружья, эти штыки, это и не штыки вовсе, а елочные игрушки блестят; опять вернулось Рождество, опять Новый год, но какое же это отмечают новолетие? — она уже не знает, она забыла; и она разлепила губы, чтобы сказать мужу: родной, я забыла все, все, помоги мне все вспомнить! — и случайно, быстро опустила глаза вниз, и увидела царя, смиренно лежащего на полу без движения; и она повела глазами вбок и увидела сына — он лежал рядом с недвижным отцом, но он двигался, он шевелился, о счастье, он был жив! Жив!

Мой Бэби жив! мой Бэби жив! мой Бэби жив! — кричала она молча, вздохнув, сама себе, беззвучно, без глотки и рта, — и ее сын услышал ее, а может, и увидел — высоко над собой, крупную, страшную, тяжелую, большую, охотником подбитую птицу, — не мать, не царицу, а древнюю, источенную ветрами гору, — уже такую далекую, что не добросить снежком, не достать слабой, в синяках, больною рукой.

...Царица хотела наложить на себя крест, рука поднялась. Опять взмыла! Пуля опередила знамение.

Ольга тоже хотела перекреститься. И не успела тоже. Кто выстрелил в Ольгу? Никулин?

Кто выстрелил в царицу? Юровский? А может, Ермаков? У Юровского на поясе висели две кобуры. «Два револьвера, второй выхватил и палит». Один у него кольт, другой Лямин не помнил какой; вроде не револьвер, а пистолет, маузер.

Мишка видел, как сначала побелело досиня, потом высветилось изнутри запрокинутое лицо старухи. Как быстро она умирала! Все. Умерла. Грудь не поднималась. Не дышит.

Павел Медведев подшагнул ближе, вот уже вошел в комнату из дверного проема. Все они палили враз. Вразнойой. Косо, криво. Пули все равно прямо летят.

Палили. Палили теперь уже мощно, зло, как придется. Чем гуще, тем лучше. Яростнее. Скорей бы. Скорей убить. Чтобы эти глаза на тебя не смотрели. Миг один — а запомнится на всю жизнь. Эти глаза девушек. И как они глядят на тебя, и как ты стреляешь им в лицо.

...вот этих глаз боялись те, кто положил револьверы на пол к сапогам Юровского.

...что Юровский сделает потом с ними, с теми, кто отказался? Убьет?

...да их уже убили, голову на отсечение. Они и до постов своих не дошли. И на улице не покурили.

...да кому они нужны. Кому мы все нужны.

Их было тут три ряда расстрельщиков.

Сначала стоял первый ряд. Ермаков. Юровский. Никулин. Медведев. Латыш плюгавый.

За ними — еще латыши, Кабанов.

За ними — Лямин, Люкин и Кудрин.

Руки, держащие револьверы. Руки стреляют, револьверы содрогаются. Руки обжигает выстрел того, кто стоит сзади. Руки в ожогах, пули уходят и уходят.

Комната маленькая. Одиннадцать человек в ней, и их расстреливают, палачи близко от жертв, жертвы глядят в лица палачам. Не спрячешьсяя.

Руки черными живыми палками высовываются из двустворчатой двери. Из рук — в живых — летит смерть, и живые становятся мертвыми.

Не сразу.

Грохот выстрелов. Частокол рук и оружия. Это казнь, и она проста и страшна.

Так надо. «Так надо, ведь мы боремся за наше светлое, светлое будущее! За коммунизм!»

Медведев палил и держался рукой за шею. Отнял руку от шеи. Лямин увидел у него на шее красное пятно. «Ожог. Хорошо, что самого не стрельнули».

Пули отскакивали от тел и рассыпались по комнате. Прыгали, как градины в грозу.

...Цесаревич глядел на мир снизу вверх, и мир ему казался теперь очень большим, странно большим, все было увеличено во много раз, и еще раздувалось, пухло, росло на глазах; лица людей походили на воздушные шары и надувались еще и еще, вот-вот лопнут, волосы их вились змеями и червями, в руках эти огромные дикие люди держали узкие, длинные сколы льда, и эти сколы остро, снежно блестяли во тьме, а тьма все густела, и комната становилась не комнатой, а громадным сундуком, и внутри сундука были не только они все, но и драгоценности всего мира, что его сестры так старательно зашивали в рубахи и корсеты; и мальчик хотел протянуть руки, поднять их над головой и упереться ладонями в крышку сундука, чтобы открыть ее, чтобы впустить воздух в эту тьму и духоту и чтобы они все немедленно вылезли из этого страшного дымного ящика, поглядели друг на друга и рассмеялись: что это такое с нами было! что это случилось! ты знаешь, darling? а ты? а ты? а ты?

И никто не знал, никто бы ему не ответил, и он это вдруг понял — и стало все горько, горько стало во рту, и горько в желудке, и горько в голове, и горько вокруг него, в самом воздухе; трудно было дышать горечью, но он все-таки дышал, а потом в горечь ворвалась невыносимая боль, и он хотел вытолкнуть из себя боль и горечь в одном сильном крике, но не мог. Он даже не смог набрать в грудь воздуха, чтобы закричать.

Скосил глаза, и рядом со щекой своей увидел чью-то ногу в белом башмачке и окровавленном белом чулке, и понял: это сестра, но кто? Настя? Тата? Оля? Маша?

Машка, это Машка, это твой туфелек, я узнал, лепетал он уже не губами, а болью, он весь превратился в боль, он перестал быть, а боль — была, и нога Мариин рядом, в этом белом чулке в красных пятнах и белом узком башмаке, тоже — была.

...Мальчик лежал на полу. Он шевелил головой и рукой. Он был жив. Что он говорил? «Боже! Он что-то говорит. Он живой! Черти! Пристрелите! Застрелите его!»

Нюта Демидова истошно кричала. В нее стреляли, а она защищала грудь, голову и живот подушкой; и пули застревали в подушке, и попадали в нее, и она вопила, и визжала, и обливалась кровью, и все равно выставляла вперед эту подушку, последнюю надежду, щит последний.

Почему так скачут, как полоумные, пули?!

— Ай! Яй! Спасите! Люди! Люди!

«Мы не люди, мы кто-то другие». Думал о них, о себе холодно, железно. Повернул голову, глаза бегали, плыли и путались зрачками в сизом, как табачном, дыму, — и увидел Марию.

Жива. Она еще жива. Она стоит у стены. Раскинула руки. Будто собой, телом защищает — то, что за стеной. А что за стеной? Пустота?

«Она представитель старого мира! Чудовище! Она дочь чудовища!»

«Это ты чудовище. Ты чудовище сам».

Мария смотрит на свою лежащую на полу мертвую мать, и ее рот приоткрыт. Она не понимает, все еще не понимает, что с ней и что со всеми ними; она хрипло дышит, у нее прострелены легкие, может, навывлет, пули застряли в ее нежном теле,

и то, что он так звал и вожделем, оказалось просто мясом, просто — мышцами, кожей, и хрящами, и костями, и сукровицей.

«Кровь. У нее вовсе не голубая кровь. Она не цесаревна!»

«У них у всех кровь красная. Как у всех людей».

— Спасите! На помощь!

Это кричит она? Кого она зовет?

«Боже! Она зовет меня!»

...Растолкать всех. Разбросать и задних, и передних. Выбежать перед всеми.

Подбежать к стене. Ее — на руки. Ногой разбить стекло окна. Выскочить: земля рядом.

Земля. Воздух. Ночь. Давай. Вперед. Она еще жива.

Ольга сползла спиной по стене. Держала в руках подушку. По рукам текла кровь. Ольга смотрела на свою кровь, и глаза ее останавливались. Медленно, тускло — так гаснет керосиновая лампа, когда прикручивают фитиль.

— Мама... мама...

Цесаревич лежал рядом с отцом и с матерью. Он опять пошевелился.

Стрелки палили. Пули рикошетили. Русские бойцы исходили хриплыми матюгами. Латыши стреляли молча.

...Доктор Боткин лежал ничком. Голову повернул и лежал на щеке, будто на диване прикорнул. Лакей Трупп мертв. Повар Харитонов мертв. Лежат, задрав подбородки; в потолок мертвыми глазами глядят, как в небо.

Как орет девица Демидова! Не смолкая! Пули летают от стены к стене. Над головами. Пули живые. А люди мертвые. Демидова испустила дикий визг и метнулась от стены к стене. Как пуля. Ударилась всем телом о стену. Рухнула. В поднятых руках — подушка.

«Она этой подушкой от смерти не заслонится!» В подушку палили пули. Вонзались в нее. И подушка ожила. Стала живой плотью. Подушка стала человеком, а человек превратился в орущую подушку. Это подушка летала по комнате, и в ней застревала медная смерть.

Стрелки ополоумели. Они перезаряжали револьверы и палили опять.

Дым. Всюду дым. Все дым. Едкий... Ожоги...

— Еще заряди! Почему они живы?!

— Чертовщина! Еще! Еще давай! В эту!

Татьяна сидела на корточках рядом с Ольгой. Около стены. Она плакала и кричала. Одна из пущенных латышами пуль попала в Татьяну, ей прямо в грудь. И — не свалила ее. Отскочила и полетела. И ударилась о стену, и отскочила снова.

— Цум тойфель, — белым ртом вылепил Юровский.

Запах пороха разъедал ноздри. В дыму ошалело качалась под потолком еле видная электрическая лампочка.

Мать умерла. Отец умер. Сын здесь. Он еще не умер. Не убит. Он ранен. Тянет руку. Рукой — от пуль — защищается.

«Зачем он все еще жив?!» Лямин с ужасом понял: патроны в его обойме закончились. «Перезарядить? Не буду. Гори все синим пламенем!»

Никулин стоял около мальчика. Мальчик поворачивал голову. Лежал на спине и вертел головой. И стонал. И кусал губы. И опять что-то говорил. «Что он говорит? Боже!»

Лямин звал Бога к себе, не думая и не понимая, кого зовет. А когда понял — содрогнулся.

Никулин стоял над Алексеем. По лицу Никулина гулял ужас. Наследник все еще жив. Непонятно. Отвратительно. Кровь все еще бродит по его худому телу; и у Никулина сама, сама стреляет рука. А эта тонкая рука подростка снова защищает — лицо, глаза, лоб. Душу. Может, такая живучая именно душа? И может есть и Бог и все его святые, и они над ними всеми смеялись, а они — вот они, тут?

Никулин бесполезно палил в мальчика. Царица и царь лежали в лужах крови. Девочки в крови сидели, ползли. Демидова орала. Латыш прицелился в нее. Выругался.

Лицо Никулина обратилось в железный крест: брови — перекладина, нос — столб. Юровский шагнул к нему в дыму и глухо, невнятно бросил:

— Отойди. Мясник.

Фигура Юровского высовывалась, торчала из дыма черным огородным пугалом. Лицо дымом заволокло. Над фуражкой дым вился. Везде, всюду, и сверху и снизу — дым. И сам Юровский соткан из дыма; все сон, и сейчас развеется.

Окна! Окна откройте!

Юровский сделал еще шаг и оказался над лицом лежащего мальчика. Поднял руку с кольцом и выпустил две пули ему в ухо. Мальчик лежал навзничь. Голова в красном круге. Не двигался. И больше ничего не говорил.

Лямин напрасно искал глазами глаза Марии. И ее самое не видал в дыму.

...Вот она! На корточках сидит; около стены; и Настя с ней. Головы руками закрыли. Нюта Демидова визгнула в последний раз и повалилась перед княжнами, все так же крепко прижимая к груди подушку, живую, последнюю, теплую, милую. Валилась на полу и дергалась. Жила.

К цесаревнам подскочили Кудрин, Медведев и Люкин. На искаженном, исковерканном отчаянием, дымом и истерикой лице Сашки Люкина читалось еще и ужасающее любопытство: а почему эти чертовы девчонки так долго не гибнут?

— Жалезные, што ли?

Кудрин и Медведев палили в княжон. Люкин вздернул руку и выстрелил тоже. Рука сама повелась вбок и вверх, и он попал в подоконник.

— Мазила! — яростно крикнул, обернувшись, Медведев.

Вбежал Кабанов и заорал, приседая, перекрывая грохот выстрелов:

— Прекратить стрелять! Живых заколоть штыками!

«Почему Кабанов орет приказ? Почему не Юровский?»

«А какая разница! Все равно!»

Демидова и лежа на полу закрыла лицо подушкой. Подушка медленно сползала с лица, и обнажался рот Демидовой, застывающий в вечном, невыносимом вопле.

— Доколи! — как зверь, крикнул Ермаков, оборачиваясь к Лямину.

Мишка поднял винтовку и занес штык над девицей Демидовой.

...Ему казалось — он размахнулся хорошо. И рука у него вроде сильная. И винтовка у него американская, винчестер. Штык, это же огромный нож. Острие вошло в плоть. Плоть подалась и хрустнула. Брызнула кровь. ...Еще нажать, еще, еще.

«Где я? Кто я? Что я делаю? И я ли это?» Тупой штык трудно входил в тело, ломал грудные кости, пробирался к легким. Демидова вцепилась обеими руками в штык, пытаясь выдернуть его из груди. Ее визг пробил потолок, достиг крыши и вышел наружу. «Стекла треснут от такого вопля. Я не могу ее заколоть!»

...Подбежали стрелки. Кто? Он не видел, не понимал. Заблестели штыки. Визг достиг предела и оборвался.

...Кудрин, Латыш, Кабанов и Никулин добивали девицу Демидову прикладами. Били по голове. Лицо в лепешку расквасили. Череп треснул, глаз вытек.

...Поднял голову. Вот сидит голова его на плечах его; и смотрит он глазами; но это не его голова, и не его глаза, и — не его жизнь.

...И ни разу, ни одной мысли в чужой голове — о Пашке. О женщине этой, что делала с ним войну, постель и смерть.

Мария! Где ты! В этом дыму! Мария!

...Ермакову казалось — это он, он один убил царя. А когда ему это показалось — громадная гордость стала его распирает изнутри, и он, дыша дымом и щурясь в дыму, вдруг сам себя увидал в дымном кривом, чудовищном зеркале: он такой большой, больше этой подвальной каморки с полосатыми обоями, больше Ипатьевского дома, и пробивает головой крышу, и ощущает: он, он — царь! Всей этой черной ночной земли, всех орущих и быстро бегущих людей! Всех железных машин, издающих лязг железных костей! Он и правда царь, ведь он царя убил, — и пусть попробует кто-нибудь оспорить у него эту честь; он его убил, он, а не Лямин, не Юровский, не Никулин, не Кудрин! Не Латыши! Не Кабанов! Никто из них! И никогда! А только он, он один, он — царя — прикончил!

Да еще многих, многих тут, в этом чаду и дыму: тела мелькали перед ним, и он бил, и стрелял, и бил все крепче, насмерть, и стрелял все точнее, все жесточе, — а перед ним мотались охвостья белых, измазанных кровью исподних рубах, и хвойно-зеленое сукно гимнастеров, и черные магазины маузеров, и черные стволы наганов, и штыки, похожие на воздетые в снежных дымах морды остроносых стерлядей, — а какая разница, на рыбалке они, на охоте, на бойне, в лесу, в зверинце? Вот она, жизнь! А вот смерть! А вот он, их всеобщий красный царь Ермаков!

...и вдруг стал опять маленьким, и сжимался в комок все сильней, все быстрее, стал величиной с булавочную головку, и испугался, что вот сейчас кто-то на него невзначай наступит сапогом — и раздавит, и хрустнет он, хрустнет кристаллом поваренной соли, утопнут его в грязь, и — все, как и не было его.

...и только лицо, странное женское лицо, жесткое, жестче железа, с крепкими злыми скулами, с ледяными глазами, мелькало в дыму и опять пряталось в нем, и насилу он вспомнил, что эту девку зовут Пашка, и что она солдат, и тоже, со всеми вместе, сторожила тут царей; но ведь она отказалась стрелять, так почему же она тут?

...Они подходили к мертвому царю и стреляли в него. Разряжали в царя револьверы. Дым бесился и плясал. Вместо потолка над головами летели тучи. Юровский подскочил к дверям и раскрыл их шире, еще шире.

...Мария! Мишка вопил это надсадно внутри себя, а из его горла выходил рык, собачий, волчий.

Две девчонки в углу у стены. Они еще сидят. Нет. Одна лежит, свернувшись клубком; так спит котенок на чьих-то коленях. Лежит и вздрагивает, и стонет. Другая?

— Мария, — его собственный хрип ожег ему щеки и губы.

Перешагивая через тела, вляпывая сапоги в кровь, он подошел к младшим княжнам. Пальцы Анастасии вздрагивали. Мария сидела. Все еще сидела у стены. И все еще руки — на голове. Из-под живой шапки беспомощных рук Мария смотрела на него. И он слишком близко увидал ее глаза.

...Пашка лежала в кладовой на полу. Под ее животом, под расплюсненной тяжестью тела грудью, под раскинутыми ногами в тяжелых грязных сапогах холодели доски, они превращались в лед, в плоскую ледоходную льдину, и Пашка куда-то далеко, в страшное, в неведомое никуда плыла на этой льдине; льдина то кренилась, и тогда Пашка вцеплялась ей в края с острыми зазубринами, то опять выпрямлялась,

тогда Пашка переводила дух, вытягивала руки вперед, осязая холодный гладкий крашеный лед, и с трудом соображала — да ведь это она лежит на полу, в кладовой на половицах, — но себе не верила, река опять несла ее быстро, вертя льдину на перекатах, на своей широкой, блестящей под солнцем, холодной и мокрой спине, и Пашка не знала, Енисей это или Волга, Нева или Кама, Урал или Исеть, Иртыш или Тобол, — все равно, ей было все равно, она знала: вот сейчас льдина перевернется, и я перевернусь вместе с ней, и я окажусь в воде, и я захлебнусь и пойду ко дну, — и, задыхаясь, спрашивала себя: Пашка, дура, а может, ты уже тонешь, может, перевернулось уже все давным-давно?

И мира нет, и ледохода нет, и царей нет, и веры нет; и нет церквей, и нет войны, и нет оружия, — она безоружная лежит на земле, и никто не подойдет к ней, не спасет ее. Она одна, совсем одна. И никого рядом.

Где-то далеко, за стеной, стрельба и крики. Зачем? Надо крепче зажать уши. Тогда выстрелы кажутся щелканьем дятла, а крики — комариным писком. Это просто лето и лес, и огромная вырытая яма. Где их закопают? Мишка сказал — в лесу.

Она крикнула: Мишка! Мишка! — и зажала себе рот рукой. И куснула руку.

Он там убивает, а она здесь валяется и себе руки грызет, — разве это хорошо, солдат Бочарова? Мишка, кричала она, катаясь по полу, Мишка, возьми меня с собой туда, ну давай это я, я, давай я всех их застрелю! Я! Я одна!

— Спаси меня.

Это сказала она? Или сказали глаза? Мишка, не помня себя, поднял наган. «Я спасу тебя. Я тебя застрелю. И все кончится». Он зажмурился и стал стрелять. «Упади! Ну упади же! Умри!»

Голова Марии склонилась набок, слишком близко к шее. Рот раскрылся. И ладони раскрылись. Будто приглашали летних бабочек и птиц: садитесь, не трону.

Она оседала на пол. Распластывалась. Ложилась на пол, будто живая. Будто ложилась спать.

Мишка водил невидящими глазами. Нога Марии дернулась, она стала сгибать и разгибать ногу в колене, и ее длинный стон вывернул Мишкину душу наизнанку дырявой солдатской штаниной.

— Мария...

...Подскочили Кудрин и Ермаков. Ермаков всадил в Марию штык. Под ребра. И еще, и еще раз. «У нее там сердце! Не смейте!» Кудрин стрелял. Ей в голову, в грудь, в живот. У Кудрина лицо напоминало морду раненого льва.

— Все! Кончено! Больше не заряжай!

Голос Юровского взмыл над дымом и опять потонул в нем.

Лампу заглатывал дым. Лампа вырывалась, не хотела умирать.

— Выноси трупы!

Лямин не узнавал голоса, отдававшие команды. Сашка Люкин стоял в облаке дыма и махал рукой. По его лицу гуляла сумасшедшая улыбка. С такими осками юродивые сидели на рынках, тянули руку за копеечкой.

— По До-о-о-ону гуляет... по Дону гуляет!.. по Дону гуляет... ка-азак молодой...

Мишка подшагнул к Люкину и ударил его кулаком по губам. Люкин испуганно вытер губы, заслонил ладонью лицо и затрясся головой, спиной, плечами.

Шофер Люханов терпеливо ждал в кабине грузовика. Мотор работал. Юровский, белее снега, поднимал правую руку и, как вождь с трибуны, вытягивал указательный палец.

— Живей! Торопись! Ночь короткая. Надо успеть!

Он ходил меж тел, наклонялся и брал убитых царей за руки. «Что он делает? Господи! Что?» Юровский щупал всем пульс на запястьях. А вдруг кто жив. Прислонял пальцы и к шее. Искал пульс на шее. Бьется ли сонная артерия. Махал рукой: порядок! Убить!

Медведев крикнул:

— Я сейчас простыни принесу!

Лампа под потолком качалась и мигала. С нее капала кровь. Медленно, раз в минуту.

Медведев взбежал на второй этаж, забежал в спальню царей и стал хватать с полу, с матрацев и кроватей простыни. Вот здесь спали княжны. Здесь — эти проклятые супруги. Медведев вытер испачканные кровью руки о простыню и брезгливо швырнул ее под ноги. С охапкой простыней сбежал в подвал.

— Клади на простыни! Легше нести!

— На простыни! — Юровский обмерил Медведева орущими глазами. — Дурак! Делай носилки! Вон, в кладовой старые оглобли лежат! От саней! Привяжите к ним простынки!

Уже тащили из кладовой оглобли. Негнушимися, после стрельбы, пальцами привязывали простыни к оглоблям. Молчали. Нюхали дым.

Первым на носилки положили труп царя.

...Даже здесь, в смерти, в казни, он оставался — царь; и это было правильно, веско.

И уже носилки с телом царя подхватили латыши и легко, играючи, понесли; будто не труп несли, а садовые лейки и лопаты.

— Яков, ты пульс всем проверил?!

Никулин кричал в дыму Юровскому, как в горах, над пропастью. Юровский наклонялся над Марией и ловил ее тонкую руку. Подхватил. Обцепил пальцами. Морда зверя на миг превратилась в сосредоточенное лицо фельдшера.

— Мертва!

«Мертва. Мертва! Мария!»

Трупы несли к грузовому автомобилю. На дне кузова бросили брезент. Брезент этот Кудрин принес из кладовой. Кровь капала, просачиваясь сквозь простыни. Люди несли носилки. Латыш, держа одной рукой оглобли, другой прислонил палец к ноздре и громко сморкнулся. Мишка тоже нес носилки. Он не мог и не хотел видеть, кто там лежит. На этих носилках, что нес он сзади, а впереди — Сашка, лежало два трупа.

— Быстро управились, черта ли лысого, — сказал Сашка косноязычно.

Крышка кузова была откинута. Первым втащили царя. Бросили в кузов с грохотом, как бревно. Мишка и Люкин закинули в грузовик два тела. Кто второй был, Мишка не разобрал. Глаза ночью и кровью застлало. Вернулись в комнату за другими.

...Мишка взялся за ноги великой княжны, Люкин просунул руки ей под мышками. Кто это был? Лишь белые платя и кровь. И косы с голов свисают, в крови вымокшие. Положили на грязные носилки. Она закричала, и Мишкины красные волосы встали ежовыми иглами под фуражкой.

— А! А-а! Больно! Помогите!

Анастасия.

И рядом, вот здесь, совсем близко, только оглянуться, рукой дотронуться, закричала еще одна.

— А-а-а-а-а!

«Это смерть. Так кричит смерть. Так не человек кричит».

Он заставил себя оглянуться и увидеть.

...Он даже не мог назвать ее по имени.

...Забыл имя, забыл свое желание и все это ошалелое время, ставшее никому не нужной, убитой вечностью.

— Эй вы! Двери открыты! Стрелять нельзя!

— Почему это?!

— На улице услышат!

Мария, завернутая в окровавленную простыню, медленно встала с пола. Она стояла перед Ляминам и кричала. А он не слышал крика. Видел только раскрытый в крике рот. Он оглох, уши залепило сырой и холодной глиной.

Винтовки кучно стояли у стены и валялись на полу. Юровский вбежал в комнату. Его челюсть прыгала, как у ярмарочного деревянного Петрушки.

— Добить!

На полу шевелились и стонали Анастасия и Ольга. Ольга перекатилась по полу с боку на бок. Из раны в ее боку странно, страшно выкатилась окровавленная крупная жемчужина и покатила по кривой половице к раскрытой двери. Жемчужину поймал пулеметчик Стрекотин. Вертел в пальцах, и пальцы кровавились.

— Ах, хороша...

Сунул в карман.

«Из раны... сокровища сыплются...»

Лямин перешагнул через стонущую Ольгу и встал перед Марией.

«Она стоит, и я стою. Но мне же не дадут ее...»

Он не додумал: спасти, добить, украсть.

— Они все живые! Дьявол!

— Мария, — сказал Мишка сухими губами, а ему показалось, они все в крови, и во рту солоно, — Мария...

Она кричала, глядя ему в лицо.

— Живучие! Убейте! Убивайте!

Юровский был страшен. Мишке захотелось его убить.

— Ну добивайте же!

Ермаков бросился вперед, с винтовкой в руках. Толкнул Марию прикладом. Она упала рядом с ногами Лямина.

— А-а-а-а!

Это уже страшно, натужно кричал Ермаков. Он всаживал штык в грудь Марии. Раз, другой, третий. Мария дергалась под штыком. Ее глаза вылезали из глазниц. Ермаков выдернул штык и вонзил его под ребра Марии еще раз. Метил в сердце. Обернулся к стрелкам.

— Что стоите! Давайте — их!

В углу дико кричала Тата.

Стрелки бросились на княжон с винтовками и револьверами. Блестели и вонзались штыки. Мишка закрыл уши руками: он слышал хруст раздираемой плоти, и рвота подкатывала к глотке, ему казалось — на бойне к коровам и быкам люди милосерднее.

Прокалывали штыками, били прикладами. Стреляли в головы. Приставляли стволы к вискам и затылкам. Стреляли в уши, в глаза. Не жалели патронов. Патронами на казнь запаслись — как для великого сражения.

...Юность и танцы, веера и балы. Жемчуг на тонких шеях. Белые перчатки, белопенные кружева. Ледяные брильянты в ушах. Море и розы в Крыму, в любимой Ливадии. Свежий ветер, и север, и пушка палит с Петропавловской крепости, и борт балтийской яхты «Штандарт», и радостный крик цесаревича: «Парус, я вижу парус!»

Красота золота, и бронзы, и радужных фонтанов, и мраморных статуй. Улыбки и вечерние молитвы. Тайны, секреты, детские обиды. Блины с икрой и горячий английский пудинг с черносливом. Крюшон в огромном разрезанном арбузе. Зимой — у камина — глинтвейн с гвоздикой и корицей. Предчувствие любви, страсти, счастья. Как мне больно. Как хочется жить! Как свежа и душиста весна!

...Штык проколол все.

...Все?

— Яков! Я не могу пробить ей грудь! Что у ней под корсажем?!

Пьяный, шатающийся шаг Юровского.

— Дай гляну!

Присел. Шарил по телу руками.

— Ого-го... Да тут...

Что «тут», не договорил.

— Пали в башку!

Ермаков выстрелил в голову Ольге.

— Все, бездыханная.

— Петр! На них драгоценности. На всех!

В дыму не различить было, смеется Ермаков или скалится.

— Похоже на то.

— Так что ждем! Обшарить! И все с них снять!

— Опись...

— Какая опись, спятил! Где времени взять! Стрекотин, эй!

Юровский указал на лежащих вповалку княжон.

— Обыскать! Тщательно! Все снять!

— Куда класть, товарищ комендант?

Юровский судорожно обернулся туда, сюда.

— Ни мешка, черти, ни сумки... ни ящика... Да хоть в карманы! Опишем потом!

Стрекотин наклонился над Ольгой. У нее из-под корсажа уже густо сыпались жемчуга и бриллианты.

Кудрин прыгнул, как волк, и согнулся над Марией. Вертел ее, мял, общупывал. Вынул из кармана нож и взрезал на Марии лиф. Лямин глядел, как из лифа покатились самоцветы и золотые цепочки и браслеты. Кудрин брал драгоценности в пригоршню и рассовывал по карманам. Кажется, у него текли слюни.

— С..., — тихо сказал Мишка, не слыша, что и кому говорит.

Никулин и Медведев нагнулись над трупом царицы.

— Ого! Ребята! Часы золотые... а какие перстеньки! Ого перстень! Камень чистый... с голубиное яйцо будет... на себе старуха таскала... не на пальце... знала: дело туго...

Латыш потрошил, как индюшку, Анастасию. Камешки щедро и весело выскочили из разреза на ее лифе и раскатились по полу.

— У, гадство, растеряем...

Кабанов ползал по полу, жадно камни собирал. Тех, кого обчистили, клали на носилки и выносили во двор. Мотор стрекотал. Невозможно было дышать, двор наполнился до краев, как бокал ядом, выхлопными газами.

Носилки несли к грузовику и бросали трупы в кузов. Вот еще. И еще. И еще.

Юровский крикнул:

— Эй! Охрана!

Подбежали трое злоказовцев из наружной охраны.

— Здесь, товарищ комендант!

— Спуститься вниз! Охранять трупы!

— Есть, товарищ комендант!

Юровский обернулся к несущим носилки.

— Вы много чего покрали! Дряни! Все вернуть! Иначе расстреляю!

Мрачно молчали латыши. Кудрин крепко держал оглобли. На носилках лежал доктор Боткин.

— А у Боткина были часы! Хорошие!

Юровский взял руку Боткина и пощупал пульс.

— Кто снял часы?! Дай сюда!

Протянул руку. Ладонью вверх. Шагнул вперед Латыш, пошарил в кармане и выложил на ладонь Юровского докторские часы. Серебряные, с золотыми стрелками, с мелкими алмазами по ободу.

— Ты сволочь!

Латыш показал лошадиные зубы.

Юровский вытаращил глаза.

— Это что еще такое?!

Стрекотин мотался возле входа в Дом в фуражке царя.

— Снять сейчас же! Мародеры!

Стрекотин обиженно, исподлобья глянул.

— Ну уж это-то... Тряпка паршивая... не золото ведь...

Юровский рукой махнул.

— Пес с тобой! Носи! Царя помнить будешь!

Вынесли труп цесаревича. Забросили в кузов. Когда размахнулись, чтобы бросить, тем, кто стоял рядом, почудилось: мальчик открыл глаза. У него просто подглазья были измазаны кровью, и казалось, что глаза — глядят.

Последними вышли Люкин и Мишка. На носилках они несли Анастасию. И им, когда зашвыривали ее в кузов, помстилось: она глядит и шевелится. Когда бросили Анастасию, поверх всех трупов, и закрыли на железные крюки крышку кузова, Люкин жадно и жалобно, украдкой, перекрестился.

А Мишка вынул из кармана газету и дрожащими пальцами свертывал сигарку, и закуривал, и курил, не чувствуя, как табак входит в легкие и терзает их, прожигает и сушит. По его щекам сползали мелкие, медленные слезы. Над их живыми головами горели холодные мертвые звезды.

— Эй! Товарищи! Я собаку нашел!

— Что за собаку?

— Да вот одной из княжон, видать, собачка!

— Живая?

— Труп!

Кудрин взял из рук у Стрекотина трупик болонки Джимми и зашвырнул его в кузов.

— Пусть их охраняет!

Кому надо было, те засмеялись шутке — угодливо, пьяно, хищно.

* * *

Занимался рассвет. Солнце должно было взойти совсем скоро. Небо на востоке налилось розовой, будто разбавленной водой, кровью. Небо само было — простыня в крови, грязная, белесая, захватанная чужими руками, потерявшая белизну девства и веры. Крыши тоже горели, светились розовым, красным. Красным отблескивали оконные стекла.

Грузовик, тарыхтя и фыркая, выезжал со двора и отъезжал от Дома, и шофер Люханов, сцепив зубы, медленно вел его по булыжникам, по тряской мостовой. В кузове

сидели Люкин и Лямин, и еще люди, но Лямин не мог бы сказать, кто они: те, кто вместе с ним расстреливал царей, или знакомые ему охранники, или новые, пришлые. Откуда они взялись, попрыгали в кузов? По приказу Юровского? Он стал равнодушен к приказам. Не слышал голосов, разговоров, вздохов и матерков. В зубах тлела сигарка. Он плюнул ее за борт грузовика. Тряско ехали, и чтобы не упасть, Мишка в борт рукой крепко вцепился. Люкин качался напротив. Он был как пьяный. А может, и правда пьяный был; Лямин раздул ноздри, пытаюсь уловить водочный запах. «Юровский вроде нам водки обещал. После казни».

— Эй, Сашка. Выпить есть?

Он не узнал своего голоса.

— Ты уж покурил, будет с тебя.

— Куда едем?

— Гадов хоронить.

Лямин боялся посмотреть вниз, себе под ноги, но все же посмотрел. Близко к его испачканному кровью, липкому сапогу лежала тонкая девичья рука. Лежала вроде бы отдельно от тела. Лямин повел глазами выше и увидел грудь, всю исколотую штыками, и голую закинутую шею. Волосы, слипшиеся от крови. Чистый лоб. Глаза девушки были открыты. Из них сочился ледяной и чистый свет. <...>

* * *

Тучи заволакивали утреннее небо.

Небо после ночи смотрелось словно серая выпуклая линза, наполненная водой; под водой ходили тревожные тени, качались синие и белые водоросли, на поверхности расцветали лилии облаков. Сквозь линзу хотелось увидеть время, особенно — будущее, но его было не видеть. Хмурость утра сполна искупали ходящие по городу волнами запахи садов. Цветы лили нежные запахи в лето, в счастье. Солнце выглянуло к девяти утра.

Вокруг Дома стоял караул. Лямин застыл у забора с винтовкой. Его дико клонило в сон. И он сам себе снился. Иногда охватывал себя за плечи, ощупывал ноги, локти: это он или не он? Себе не верил.

За воротами послышался женский быстрый говор. Постовой открыл ворота. Быстро, ловко подбирая одной рукой юбку, вошла молодая послушница, юбка ее мела дворовую пыль, в другой руке она держала тяжелую корзину — видно было, как корзина оттягивала ей руку и на тонком запястье вздувались толстые синие жилы. Изпод юбки мелькали маленькие темные чоботы. Послушница торопилась к крыльцу. На крыльце стоял Григорий Никулин и устало курил. Он глядел на подходящую к крыльцу послушницу скорбно и чуть брезгливо.

Женщина подошла близко к крыльцу и снизу вверх, как кошка, просящая молока, глянула на Никулина. Лямин опять услышал торопливый говор, но не понял, что же говорит послушница. Она протягивала Никулину корзину.

— ... Сливочки... яички... — донеслось до Михаила.

— Подите с продуктами обратно! И больше ничего не носите! Сами ешьте!

Лямин увидел круглые глаза послушницы под круглыми широкими бровями. Она с минуту смотрела на Никулина. Никулин больше ничего не говорил. Отвернулся и бросил окурочек под крыльцо.

Латыши укатили к себе в ЧеКа. Двое латышей спали в комендантской. Они спали на походных кроватях царских дочерей. Разложили кровати и увалились в одежде. Зычно, на весь Дом, храпели. Имя одного Лямин не помнил. Второй был Латыш.

Еще в комендантской сидели за столом Юровского Гришка Никулин и Павел Медведев. Стол был завален драгоценностями. Иные уже лежали в шкатулках и в ящичках, но брильянты и жемчуга были щедро навалены прямо на столешницу. Стол, прежде голый, благоразумно укрыли скатертью. Никулин и Медведев молча, мрачно складывали золото и камни в шкатулки. Оба молчали. А о чем говорить?

Царский пес, смешной спаниель, стоял перед закрытой дверью царской спальни и нюхал воздух.

Медведев и Никулин, склоняясь над столом, рассматривали брильянты. Вертели в пальцах, и камни играли, испуская чистые и яркие, острые лучи.

...А Пашка в это время, выставив крепкий зад, низко нагнувшись и возя, возя мокрой тряпкой по красным разводам, по плахам половиц, замывала кровь в подвальной комнате с полосатыми обоями, с запахом пороха и гари.

Тряпка напитывалась кровью, Пашка разгибалась и терпеливо несла тряпку к ведру, окунала ее в ледяную воду, отжимала, и опять несла к луже крови, и окунала в красную жижу, и возила по полу, и тряпка опять жадно глотала кровь и разбухала. Пашка снова волокла ее к ведру, окунала и выжимала.

Выпрямляясь, мокрым запястьем отводила со лба волосы. Ее не тошнило, она не боялась, и она ни о чем не думала. Пальцы сводило холодом. Ей было холодно, и ей было все равно.

* * *

Совет Народных Комиссаров все увеличивался и увеличивался, рос и рос, маленькие люди, петрушки, гиньоли, буратино, куколки и куклята прибывали, заполняли игрушечную коробку зала, рассаживались, переговаривались, перемигивались, хлопали друг друга по картонным и деревянным рукам, вертели глиняными головами.

На сцене появилась главная кукла — лысый вождь. Он, маленького роста, весело и быстро катился по доскам сцены к своему месту. Нашел кресло и взобрался на него. И замер: он принимал поклонение зала. Вождем, непонятно почему и за что, избрали крошечную куклу все люди; не только все, что собрались в зале, но и те, кто населял огромную черную и светлую, совсем неигрушечную землю. С этой землей игрушки, взявшие власть, играли, как с игрушкой, а ведь эта земля заслуживала большего и лучшего.

Но в Совете Народных Комиссаров так не считали. Они считали, что, захватив эту большую и богатую землю, они освободили ее и очистили от всевозможной грязи, накопившейся на ней. Этой грязью куклы считали всех, кто жил на земле прежде. А жило тут много сословий: кто пахал землю, кто служил требы богу, кто танцевал на балах, кто писал книги, кто строил дома и храмы, кто варил и жарил еду, кто продавал на рынках и в лавках всевозможные вещи, кто рожал и воспитывал детей, а кто все это защищал с оружием в руках. И вот куклы сбились в кучи, у них явился маленький гололобый вождь, он заверещал пронзительно: мир хижинам, война дворцам! — и тут же куклы объявили войну дворцам, и за ними, приняв их за людей, пошел народ.

Народ всегда идет за тем, кто посулит ему лучшее и светлейшее будущее. Кто скажет: настоящего нет, есть только будущее, так давайте умрем за него!

Еще маленький лысый чертенок вопил: мир народам, земля крестьянам, хлеб голодным! — и с восторгом, с упоением и счастьем люди стали на разные лады повторять эти слова. Эти призывы не сбылись: земля, как луна, повисла в воздухе и так висела, ничья, народы вместо того, чтобы обняться и расцеловаться, передрались,

и люди поубивали друг друга в полях, в лесах и в городах; и люди умирали от голода, со вспухшими животами, от бескормицы убивая и съедая детей своих, а потом, от отчаяния, убивая себя, ладя петлю в сарае. А то приезжали к людям маленькие черные кожаные куклы, толклись во дворе, входили в избу, искали хлеб в мешках, и находили, и забирали эти мешки, под плач и крики несчастных матерей и младенцев.

Но говорящие куклы с упорством и веселостью повторяли эти призывы, рисовали их огромными буквами на красных знаменах, и под эти знамена вставляли все новые и новые толпы, желая новой, лучшей жизни, желая жизни светлейшей и счастливейшей.

И куклы несли красные знамена впереди, а позади шли люди, размахивая руками и крича об общем благе, о вечности, о любви, о благополучии и изобилии, и гибли под пулями других людей — за лучшую и счастливейшую жизнь, а куклы наблюдали эти бои и были довольны: исполнялся их игрушечный замысел.

А замысел был прост и был таков: куклы должны властвовать над людьми и владеть землей и деньгами, и люди должны верой и правдой служить им. Тогда на земле наступит правильный миропорядок и все будет устроено так, как надо. Как надо — куклам.

...Лысый уселся на свое место и с торжеством, искристыми веселыми глазами, оглядел зал. Зал был полон и слегка, как улей, гудел. Место лысой куклы было — широкое приземистое кресло, обитое старым, уже вытертым красным бархатом. Важно, что бархат был красный. Кресло возвышалось на сцене, за широким, как река, столом, и за столом, на берегу деревянной реки, еще сидели разные куклы. Куклы смотрели на людей, и люди восторгались куклами, выражая восторг неистовым хлопаньем в ладоши. Ярко пылали огни в рампе на краю сцены.

Вышла к рампе живая кукла, лысый залиvisto крикнул: слушаем доклад наркома здравоохранения! Кукла, серьезная, в круглых очках, долго говорила о том, как в стране улучшилась охрана здоровья, и как счастливы люди Советской страны, потому что отступают старые страшные болезни: чума, тиф, холера, оспа, и как увеличилась продолжительность человеческой жизни. Все в зале верили, улыбались и хлопали.

Кукла с всклокоченными, курчавыми черными волосами над ушами, тоже лысая, смуглая и в очках, черная изящная обезьяна, наклонилась сзади к лысому, что-то шепнула ему на ухо. Тот вздрогнул и разулыбался. Потом согнал улыбку с деревянного лица и стал серьезным и важным. И громогласно объявил: товарищ Свердлов просит слова, у него для почтеннейшей публики весьма важное и срочное сообщение!

Черная кукольная обезьяна встала за столом, укрытым красным сукном. Поправила на переносице очки. Очки заманчиво, сладко блеснули. Обезьяна открыла длиннозубый рот и стала складно говорить на человеческом языке. Она сказала людям так: ваш царь собирался удрать, да мы его вовремя поймали, он уже одной ногой был на вражеском корабле, мы раскрыли крупнейший антинародный заговор и предотвратили его! Мы поймали царя (он уже почти убежал) за хвост — и расстреляли его!

Буря поднялась в зале. Люди захлопали, закричали «ура!», засвистели, завывали, затопали. Кое-кто даже кричал уткой. Кто-то крикнул: «Слава нашим доблестным красным вождям! Позор немецким марионеткам в царских коронах!» Зашумели еще пуще. Потом шум стих. Черная обезьяна подняла руку. Черная кожанка у нее на теле скрипела при поворотах туловища. Обезьяна отчетливо и весело сказала: «Позор царскому выродку, обманувшему нашу великую страну! Слава нашему великому вождю, ведущему нас за собой к светлому и счастливому будущему!»

И весь зал встал и хлопал в ладоши, пока ладоши не заболели.

А когда шум утих, человек из зала крикнул: а семья? где семья? что случилось с семьей? ее тоже казнили? — и кукольная обезьяна товарищ Свердлов, нимало не расте-

ржавшись, ответил: нет, семью перевезли в надежное место! Ее судьба, товарищи, целиком в ваших руках!

И опять люди хлопали, не жалея рук. Потом люди из зала один за другим полезли на сцену. Подходили к трибуне и просили слова. И лысый чертенюк и черная обезьяна решали, давать людям слово или не давать. Мерили человека оценивающим взглядом и махали игрушечной рукой, что означало: разрешаю. Или делали запрещающий жест и указывали пальцем: уходи, мол! И человек, пятась, покорно уходил. Так все беспрекословно слушались своих вождей.

Выходящие к трибуне одобряли расстрел их царя. Один одобрил, потом другой, потом третий. И четвертый, и пятый. И из зала тоже слышались выкрики: прекрасно! браво! отлично! так им и надо, кровопийцам! Люди говорили, а лысый чертенюк молчал. Слушал, склонив умную деревянную лысую голову.

Когда люди закончили обсуждать расстрел их царя, лысый вождь встал из-за стола, воздел правую руку и крикнул на весь зал: так им! Поделом! Ответили за все свои злодеяния и преступления против нашего народа!

И все опять захлопали и зашумели, и шумели недолго: вождь махнул рукой, и воцарилась мертвая тишина. И в этой мертвой тишине все глаза обратились на лысого вождя. И он тихо, но очень отчетливо, на весь зал, сказал: это была воля народа. А народ всегда прав. Ура народу! И опять все взорвались криками, как сумасшедшие, и долго кричали «ура».

А потом на сцену стали выходить люди, работающие в больницах. Они громкими и робкими голосами поведали залу о том, как больные живут в советских больницах. В больницах, как выяснилось, живут совсем не так уж плохо, но и не особенно хорошо. Не хватает бинтов, ваты, марли, лекарств от боли, лекарств от кашля, лекарств от живота, горчичников, банок, микстур, шприцев, иголок, грелок. И еще чистого медицинского спирта. Лысый вождь закивал головой: да, да, разумеется, все эти необходимые вещи мы немедленно доставим в советские больницы! Это негоже, чтобы в советских больницах — да спирта не было! И оборачивался к президиуму, и жутко подмигивал сидящим за красным столом куклам. А куклы смущенно улыбались ему.

Потом началось обсуждение доклада о больницах. Люди сидели сначала молча, робко. Потом тихо говорили: ну, ваты нет, оно конечно... ну, бинтов нет, так это ж... а шприцев нет, так это же повсюду... война сейчас... революция... какие шприцы... какие теперь обезболивающие... палку в зубы — и пили ногу... ори не ори, все равно померешь... ну, живот вздует, быстрее на рундук беги! — и всякое такое говорили, шептали и выкрикивали, а после, охрабрев, выбегали к сцене и размахивали руками, как флагами, перед лысым чертенюком и его куклами. Бинта! Ваты! Шприцев! Спирта!

На что чертенюк вскакивал, опять поднимал вперед правую руку и весело, топорща усы и воздевая остроугольную бородку, словно бы нагло передразнивая, а может, торжествуя и празднуя, подхватывал, продолжал эти людские крики: спирта! Марли! Киселя! Каши! Рыбы! Мяса! Нефти! Хлеба! Воли! — и бросал эти крики, как огромные булыжники, в людскую гущу, в толпу в зале. И люди ловили эти кричащие булыжники, прижимали к сердцу и блаженно жмурились: нам вождь, сам вождь это сказал! Значит, так будет!

А многие говорили друг другу на ухо: вождь бледен, он не спит ночами, он стоит над картой нашей огромной черной, залитой кровью земли и думает, как лучше ее вспахать и засеять, как лучше перегородить плотинами великие реки и как, самое главное, лучше вырастить нам наших дорогих родных детей, чтобы они наконец и скорей увидели светлое и счастливое будущее.

В зале детей не было. Детей сюда, на заседания кукол, не брали.

...Люди сами себе сделали кукол, из людского непрочного материала — из веры и жажды счастья, — и сами поверили в них, и сами шли за ними, и некого было винить. <...>

* * *

Лямин ходил по Дому. Дом был и мертвым и живым вместе; и Лямин ходил по нему так, как доктор выслушивает опасно больного и боится поставить ему правдивый диагноз, и боится обидеть, и боится убить словом.

Лямин ходил по комнатам, поднимался и спускался по лестницам. Он ходил один. В доме еще была Пашка, она, как обычно, стояла на кухне у плиты.

Охрану постепенно распускали, но не на волю отпускали: оформляли стрелков на фронты. Лямина ждал, скорей всего, ему уж Авдеев намекал, фронт на Урале — красные войска бились на Урале с белыми, и ему уже сказали, что определят его в сводный Уральский отряд какого-то комиссара Блюхера, под Богоявленск. Это означало — он из Екатеринбурга должен двинуться на юг; там, по слухам, шли жестокие бои, но шанс был, что красные возьмут перевес. «Нас — больше. Красных — больше! Под красное знамя вся страна встает! А эти... недобитки...»

Дом глядел бельмами белых окон. Известку со стекол никто не успел отмыть. Всюду валялся мусор, и усеянный мусором Дом походил на громадную свалку.

Лямин открывал дверь царской спальни. Перешагивал через зубные щетки, еще испачканные в засохлом зубном порошке, и резные изящные гребенки. Переступал через булавки и заколки, через невиданные скребницы с жесткой торчащей щетиной — то ли платяные, то ли для обуви, а может, волосы дамам чесать, — через пустые флакончики; поднимал флаконы с полу, отворачивал пробки и вдыхал запах — нежный, то сирени, то ландыша, то роз. Сапоги хрустко, жестоко наступали на разбросанные фотографии, на деревянные позолоченные рамки.

Подходил к гардеробу. Распахивал двери. Руки любопытствовали, а глаза стыдились и прятались. Но он вскидывал веки, и прямо перед ним на длинных брусках качались пустые вешалки, и он видел, как они превращаются в живые плечи, и плечи одеваются в шинель и кутаются в шубку, как руки влезают в рукава, а ноги торчат из-под обшитых кружевом юбок. Он громко хлопал дверью гардероба и отшагивал от него, и деревянный ящик, как пустой гроб, отзывался смертным эхом.

Отпахивал и дверцы печей. К печам за все это время он успел привыкнуть — ведь сам частенько их топил. Он думал, печи глянут на него пустыми зевами, а он открывал дверцы — и на него вываливались кучи золы: здесь сожгли горы тряпок, утвари, безделушек и, может, писем и книг. И, конечно, нот — все девушки были превосходные музыкантши, он помнил, как Ольга играла и пела, как Татьяна легко и любовно перебирала клавиши.

...На этом рояле бойцы пили водку, в него ссыпали пепел от папирос.

Всякой вещи свое время и свое место под солнцем.

Лямин приседал перед печью, трогал золу. Она была еще теплая. «Я тут ничего не жег. Я ничего не трогал тут! Все сожгла охрана, пока мы ездили их хоронить».

Дверцы скрипели, будто пели. Он шел дальше. Не мог остановиться. Ноги сами его несли. Вот столовая. Сколько раз они ели тут; и сколько раз у царей из-под носа выхватывали недоеденное блюдо, смеялись над ними, тыкали им в нос огрызком ржаного: жри! жри! Кровушку попили, теперь хлебушком закусите!

В камине тоже возвышались горы золы. Здесь тоже много чего пожгли. Возле камина стояло кресло-каталка. В этом кресле выкатывали цесаревича гулять; в нем

иногда сидела царица, ее подкатывали к бельмастому окну, подавали ей книгу, и она читала. С мокрым полотенцем на большой голове. С большими ногами, даже летом укутанными в шерстяные носки.

Лямин шел, и тоска затхлой грязной водой наполняла его легкие, и трудно было дышать. Он хотел туда, дальше, в комнату, где спали царские дочери. Он открывал дверь, и ему в лицо била сухая жесткая пустота. Пустота томила и поражала. Голые стены хохотали над ним. Ему хотелось закрыться от пустоты, как от солнца или пули, рукой. Железная круглая коробка из-под конфект; на коробке написано крупными буквами: «МОНПАНСЬЕ ТОВАРИЩЕСТВО АБРИКОСОВЪ И СЫНОВЬЯ». Вкус лимонных леденцов он остро почувствовал под языком и на губах.

...Вкус ее губ, так и не распробованных.

Под кроватью стояло судно цесаревича. Лямин не понимал, как тяжело он болен и что это за болезнь такая. Ему Пашка сказала — это когда человека ранят, а кровь льется и не остановится. А если ушибется — кровь льется внутрь, и ты можешь умереть оттого, что твои потроха кровью зальет, как река берега заливаает в разлив. Судно! Они все подтыкали эту посудину под мальчишку. И отец, и мать, и сестры, и доктор. И эта сенная их девка, как ее, Нюта. Почему здесь так мрачно? Он огляделся и понял почему. Окно было занавешено клетчатым шерстяным пледом. Он не знал, что это плед, думал — одеяло. Подошел к окну, заморское одеяло сорвал. Кинул на голый матрац.

«А где же их походные кровати? Ведь на них они спали? На такой — она спала?»

Тревога выкрутила нутро. Он выбежал из спальни княжон. Пошел по коридору, твердо, зло распахивая двери — одну, другую, третью. Дошел до комнат, где спала охрана, и до караульной. Толкнул дверь караульной ногой; там стояли эти кровати, длинные, на низких ножках, — настоящие солдатские.

«Да ведь Пашка говорила — их и воспитывали как солдат. Утром царь заставлял их ложиться в холодные ванны, а после растираться жесткими полотенцами, а после делать по пятьдесят приседаний. И они все это проделывали».

Он представил себе Марию — в лифчике и панталонах, с синей пупырчатой, гусиной кожей после ледяной ванны, приседающую перед распахнутым настезь, даже зимой, окном и терпеливо считающую: «...тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать...»

«Ей здесь рождение отмечали. Девятнадцать».

И вспомнил, как добыл ей на день рождения пирог; вкуснейший пирог, с малиновой ягодой, обмазанный яичным белком, облазил все кондитерские — и нашел, и купил на последние деньги, и наврал: мне самолучший, невесте на именины несу, и ему кричали в спину: товарищ, еще теплый! ваша невеста будет довольнешенька! — и он бежал, тащил пирог через весь Екатеринбург, тяжело дыша, хватая воздух небритыми губами, представляя, как она удивится и обрадуется; и она и правда удивилась и обрадовалась, а потом пришли солдаты и Никулин и отняли пирог, Пашка наябедничала, и Мария глядела на него глазами, в которых собралось все смущение и вся радость погибшего мира.

Где же вся их радость? Там, в лесу. Где же вся их жизнь? Там, в глубокой шахте.

Не ври себе. В лесу, под землей их смерть; а их жизнь все равно раскатилась, рассеялась всюду, вот облако в небе, оно так похоже на ее кружевное летнее платье.

Он согнулся и плотно уложил лицо в ладони, будто себя уложил в гроб и прикрыл крышкой. И так долго стоял.

...И по всем комнатам валялись иконы. Множество икон.

Иконы, их красные ненавидели и презирали. Хотя иные солдаты тайком крестились на образа, а на груди носили кресты на гнилых старых гайтанах. Царские иконы

валялись под его ногами, хуже шелухи от семечек; их можно было пнуть, раздавить сапогом, плюнуть на них, пустить на растопку — они бы не сопротивлялись. А как крестилась на них царица! Благоговейно, блаженно. Он никогда не видал, чтобы люди так крестились на иконы, как она.

«Умоленная была. Ей бы — в монастырь... игуменьей...»

Отчего-то подумал: и царю пребыть бы патриархом, а не царем.

Иконы валялись и в отхожем месте за Домом. И у дома Попова, где ночевала охрана; и Лямин знал об этом. Он это видел. Но сейчас он шел по Дому, и он разговаривал с Домом, как с больным другом, и он жаловался Дому на то, что произошло.

«Ты понимаешь, мы их убили. А они — в тебе — жили. Жили! И всюду висели иконы. И они на них молились. И — не вымолили жизни себе».

Он трогал корешки их книг. Пухлая Библия, обтянутая темной кожей, из нее торчали длинные, обшитые атласом закладки. Атлас выцвел и продырявился. Молитвослов. Акафист святой преподобной Ксении Блаженной Петербургской. Акафист Божией Матери. Житие святого Серафима Саровского. «О терпении скорбей». Четьи-Минеи — да, это они читали каждодневно, поминая житие каждого святого, что родился в этот день.

А это что за книги? Лямин наклонялся, шепотом, по слогам читал имена и заглавия. «Лев Тол-стой. „Вой-на и мир“. Антон Чехов. „Рас-сказы“. Сал-ты-ков... ков... Щед-рин. Авер-чен-ко... Миха-ил Лер-мон-тов...» Тезка, улыбнулся он Михаилу Лермонтову и ласково погладил книгу. Поднял с полу еще одну. На обложке стояло: «АЛЕКСАНДРЪ ПУШКИНЪ. СОЧИНЕНИЯ». Развернул. Зрачками выловил сразу и обжигающе:

...если жизнь тебя обманет —
Не печалься, не сердись;
В день уныния смиришь,
День веселья, верь, настанет.

Сердце в будущем живет,
Настоящее уныло;
Все мгновенно, все пройдет;
Что пройдет, то будет мило.

На голой кровати лежала тщательно оструганная широкая доска. На этой доске ел, пил, играл и читал цесаревич, лежа в постели. Остро и влекуще пахло, но не духами, а чем-то пряным и терпким. Лямин догадался: лекарствами. И верно, по подоконникам, на полках, на тумбочках в изобилии виднелись пузырьки и флакончики, пробирки и чашечки, бутылки и мензурки: в них прозрачно застыли лекарственные пьянящие смеси, которые лишь сутки-двое назад принимали внутрь эти люди.

Лямин шагнул к подоконнику и взял в руки странную бутылочку в форме гитары. На бутылочке была приклеена этикетка. Он прочитал: «СВЯТАЯ ВОДА». Беззастенчиво и бессознательно отвинтил пробку. Что надо сделать? Глотнуть? Помазать виски, грудь? Вылить себе на затылок? Хотелось пить. Он, морщась, глотнул. Подносил к губам брезгливо, а глотал чисто, радостно, вкусно. Вода и впрямь оказалась вкуснейшей — холодной в жару, чистой и свежей. «Будто серебра живого глотнул. И правда святая». Думал так, нимало не веря в это.

Вышел в прихожую. Там на лавке стояла приоткрытая коробка. Из коробки торчала шерсть. Он подумал: овечья — и поднял крышку, а под крышкой оказались человечесьи волосы, и он отпрянул. И снова набросил крышку на коробку, и отошел, и выругался шепотом. Это были остриженные волосы девушек; их остригли, когда

они хворали корью, еще давно, там, в своих дворцах. А коробку эту, с волосами княжон, они зачем-то с собой возили, вместо того чтобы выкинуть на помойку.

Лямин потопал сапогами, стряхивая с них налипшую грязь. Повернулся и пошел опять в столовую. Что-то его беспокоило в столовой, а он не знал что. Вошел. За стеклами шкапа высились сервизные тарелки. Половину из них уже растащили. На полу валялись сухие полевые цветы: гвоздики, ромашки, мышиный горошек, донник. «Донник любят пчелы. Кто сюда цветы приволок? Да и бросил». Вроде как в память... на полу лежат...

Повел глазами. Один из стульев был обтянут чехлом. И на белом чехле, прямо посредине, на спинке стула, отпечаток — красная ладонь — и потеки засохшей крови. «Руку обтерли... после того, как трупы выносили...»

Его прошибла дикая мысль: может быть, это отпечаток его собственной руки.

* * *

...Он закрыл дверь столовой. По Дому ползли съестные запахи. Вошел на кухню. Пашка вздрогнула на стук двери и топот шагов, подняла к затылку руки и привычным ему жестом стянула узел платка, но не обернулась.

Лямин подошел близко и положил тяжелые руки ей на плечи.

— Что, так уж противен?

— Сними руки, — холодно и медленно сказала Пашка, — не видишь, я стряпаю.

На плите булькали две кастрюли. Крышками не были покрыты. Одна с рассольником, другая с чищенной картошкой.

— Рассольник с мясом?

Зачем спросил, не знал. Просто чтобы что-то говорить. Голос от него к ней шел, как человек по канату над пропастью.

— Постный.

— Это ничего.

— Ничего.

Ее спина говорила ему: ты же видишь, нам не о чем говорить.

— Пашка, у тебя что, другой? Честно скажи.

Она возила половником внутри бадьи с рассольником. Поднесла половник ко рту и попробовала на соль, вхлюпнула в себя глоток горячего. Обожглась, махала рукой на открытый рот.

— Ах-ха-ха. Нашел что спрашивать.

— Прости, если что не так.

— А что мне тебя прощать. Ты сам себя прощай.

Вот теперь глянула наконец — остро, колюче, из-за кастрюли.

«Знает. Что — знает? Про Марию? Так я ж никому...»

Михаил попытался пошутить.

— Ты лучше дай мне рассольничку попробовать. Может, рот обожгу... и не потянет к тебе... целоваться.

— Целоваться? — Пашка обернулась к нему всем сильным торсом, стояла рядом, вертела в руках половник, как легкий бабий гребешок. — Целуются, когда любят. А ты меня...

Замолчала. Снова повернулась к плите.

Лямин видел теперь ее профиль, четкий, резкий, будто из дерева срезанный.

— Хочешь сказать — все?

— Что — все? — И голос был вырезанный из дерева и вылитый из чугуна. Как крепкие, закрытые ворота. — Все будет, только когда в могилу положат. А теперь — надо жить и...

Опять молчала. Мешала рассольник. Он ждал.

— И воевать.

— Воевать! На кухне!

— Скоро отправят. Воевать.

Легко вздохнула, будто бабочка у нее с плеча взлетела.

— Куда — тебя?

У него это вырвалось почти криком.

Она куснула губу. Вытерла ее выгибом руки, кистью с набухшими венами.

— Нас с тобой в разные стороны пошлют.

— Это ты постаралась?

— Ничего я не старалась. Мне командиры сказали.

— Командиры?

— Комиссар Ермаков.

— И — Юровский?

— И Юровский.

Зачерпнула полный половник горячего рассольника. Поднесла Лямину.

— Хлебай!

Он отпрянул, как конь.

— Ты что же, дура... горячо же...

— Ага! — Ее глаза блестели двумя сколами разбитого хрусталя. — Горячо! Больно то есть! Боишься, обожжешься! А я — не боялась!

Выплеснула половник в кастрюлю. Суп разбрызгался, и она охнула и вытерла мокрое лицо и грудь ладонью.

— Ну вот, — над собой усмехнулась, — хотела тебя обжечь, а обожглась сама. Так с нами всегда, с бабами.

— Пашка, — хрипло вытолкнул из себя, последним козырем, — мы же ждем ребенка!

— Мы? Это я жду.

Крепко вытерла руки фартуком, закрыла кастрюлю громадной и тяжелой крышкой. Суп булькал под крышкой тихо и сердито. Сдернула фартук. Он уже подзабыл ее в солдатских штанах, и вот она опять была перед ним в них — в военной своей форме, ни баба, ни мужик, и баба и мужик, и девка и парень, и вместе лошадь, и будто птица, и легкая и тяжелая, и крепкая и слабая, — такая Пашка, какой она была всегда в отряде; и сейчас она отдалилась от него, ее будто осветило отблеском то ли былых, то ли будущих сражений, и эти далекие огни укрупнили ее резкие черты и сделали недостижимым и скорбным ее такое близкое и прежде, в иные редкие минуты, по-бабьи нежное лицо. Он протянул руки, она резко и умело увернулась, отошла, и он глядел на ее сапоги, они отпечатывали по полу кухни мокрый грязный след: она недавно носила воду из колодца и выпачкалась в грязи.

— Пашка! — крикнул он. — Ты меня любишь?

Ее спина. Вся в бликах ясного, яркого пламени.

— Пашка! Ты меня не любишь!

И это было последнее, что он мог ей сказать.

...Опять бродил по комнатам. Один.

Зачем он это делал? Не знал. Дом втягивал его в себя, Дом оставлял его в себе — навсегда. Дом был воронкой, в нее ухало и пропадало в крутящейся черноте все, что мучило его и делало его счастливым: Жигули и буянская Наталья, Западный фронт, Галиция и Польша, Петроград и Москва, Сибирь и Урал, костры и пулеметные очереди, конский храп и запах терпкого женского пота, и Пашкины солдатские штаны, что сушились на голой ветке перед командирской избой, и забытые руки матери, и дикие далекие крики казнимых людей, и звезды, и тучи, и холодные чистые реки —

все исчезало тут, в стенах Дома, под его крышей; и не было сил вырваться, и затягивало сильнее, и только по глотку солнца, по глотку неба в огромных глазах этой девочки, царской дочери, и мог затосковать он — перед тем, как все забыть.

Глядел на мебель. Глядел на рисунок на столе: одна из сестер нарисовала акварелью качели меж двух старых деревьев, и листву, и облака, — солнечный день. Под рисунком стояла подпись: «М. Н. Р.». Он глядел на подпись и не понимал, что это — «Мария Николаевна Романова».

Подобрал с полу листок. Красивый почерк. Ровный и строгий. Он все равно плохо разбирал чужие письма: хорошо умел только печатное слово.

— И крест тяжелый и... кро-ва-вый... с твоею... кро... кро-то-стью... встре-чать...

«Из Писания, что ли, стих».

Спустился по лестнице. Вышел во двор. Постоял немного под солнцем; оно и не светило, и не грело — странное пустое солнце. На месте солнца — дыра.

Сад на ветру пошевеливал листьями — что-то нежное бормотал.

Лямин открыл дверь, вошел в Дом и прошел через все комнаты первого этажа. Они были пусты. Вернется ли сюда охрана? Или все уж укатили? Он не знал. «Может, все ютятся в доме напротив, у Поповых. А может, еще сюда придут». «Почему я здесь?» «А кто меня знает. Вот возьму сейчас и сам уйду. Они все... сами боятся и деру дают...»

Его тянуло в ту комнату. Поглядеть. В последний раз. Спустился по лестнице. Глухо бухали по ступеням сапоги. Сапоги замедлили перед порогом. Переступили.

...Слишком темно. Слишком тесно. Как они все здесь уместились?

Окно вело в мир. Единственное. Но в это окно было видно не небо — земля. «Они видели землю. Они уже все здесь были — под землей». Он глядел на толстую чугунную решетку на окне. «Тюрьма, она и есть тюрьма. Даже если это дом — с кухней, столовой... со спальней».

Чуть скрипели половицы. «Как чисто тут вымыли. Всю кровь замыли. Пашка замыла».

Он глядел на тонкую стенку, отделявшую комнату от кладовой. «Там Пашка мне сказала о ребенке». Подошел к стене и потрогал ее. Стена была картонной; по сути, легкая перегородка.

«Если бы Пашка сидела в кладовой — ей бы все было слышно».

«А может, и сидела. Откуда ты знаешь».

«Да ей и так все было слышать. Выстрелы и крики раздавались на весь Дом».

Он глядел на следы от пуль и трогал их. Будто по стене ползли клопы, и надо было их раздавить. Глядел на пол. Что-то его беспокоило. Под карнизами увидал: не всю кровь Пашка отмыла. Следы остались.

«Следы, везде следы. Человек идет и оставляет след. Охотник по зимнему лесу на лыжах идет — за ним след; да по воде лодка проплывет — тоже след, да быстро тает. Эти следы — сотрут, отчистят. И останется только земля. Она все и пожрет. Все наши вопли и все следы. И следа не останется».

Вдруг ясно и горько подумал: забудут. Забудут все! И царей, и тех, кто их убивал. Только произойдет это еще не скоро. «А может, скоро. И оглянуться не успеешь. Скажут: царь Николай! — а вокруг спросят изумленно: а кто ж это был такой?»

Он глядел на стены, и следы от пуль то сбегались к нему, то разбегались черным фейерверком, то сыпались ему в ладони черным зерном, то собирались в страшный черный ком. А потом опять взрывались. И мелькали перед глазами.

Он подошел к стене. По стене бежала кривая надпись. «Это они написали? Но когда? Они бы не успели». Попытался разобрать. Напрасно. «Какие-то каракули. По-ненашему. Может, тайный шифр?» Немецкая строчка бежала, загибалась книзу, косо падала.

Перед глазами встала вся гора кольтов, маузеров и наганов, сваленных на рояле в комендантской. «Мы для казни припасли столько оружия, что можно было бы взять штаб Сибирской армии и генерал-майора Гришина-Алмазова». Сам своей шутке усмехнулся.

Не мог уйти из комнаты: ноги не несли обратно. Так и стоял посреди, глядя то на пол, то на стены, то на потолок с одинокой электрической лампой. «Свет тонул в дыму. Мы света не видели. Вслепую стреляли».

Далеко, на верхнем этаже, раздался резкий стук. Что-то упало. А может, выстрелили. Лямин не шевельнулся. И не вздрогнул. Он стоял и глядел.

* * *

...Город. Он такой мертвый. Он ждет белых. И скоро падет. Город уже знал и ждал, когда он падет; и он хотел, чтобы это произошло скорее, и без особых мучений и без особой крови; но, понятно, без крови никак не могло обойтись, и город, притихнув, молча ждал крови и почти смирился с ее пролитием.

Юровский спешил. Он честно, искренне боялся. Даже паниковал, хотя ему докладывали каждый час о продвижении белых войск. «Уже рядом, рядом», — шептал он сам себе, и счет шел на часы, а час так быстро обращается в минуты, а минуты распадаются на серебряное зерно секунд и толкают вперед тонкую бешеную стрелку на роскошном царском брегете. Царском? Он этот брегет снял с доктора Боткина. Но и Боткину спасибо.

Лошадиные копыта взрыли молчаливый жаркий воздух медным цоканьем. Извозчик подъезжал к его дому, и Юровский стоял на крыльце и видел бороду, гриву, сваленные на подводе мешки. Юровскому показалось: в этих мешках старик повезет его тело, разрубленное на куски. Отогнал видение, улыбнулся вознице. Загодя, сразу, сунул деньги: на вокзале может не хватить времени, кто знает, когда подадут и когда отправят поезд!

Он бросил извозчику: помогай, еще заплачу! — и старик с готовностью прыгнул, как молодой, с козел. Тащили чемоданы и баулы. Слишком тяжелые и слишком много. Что в этих саках и тюках? Извозчик тащил и обливался потом. Юровский заставил старика понадрываться. Сам нес что поменьше: сумку, ящики с серебряной столовой посудой. Боже, какой чемодан! Это всем чемоданам царь! При слове «царь» Юровский почернел и замешкался. Потом опять ногами засеменял. Когда он торопился, он шагал очень мелко, будто ребенок, — маленькими шажками, неловко, неустойчиво. И ноги в коленях кривил.

Громадный чемодан они тащили вдвоем, извозчик и комиссар. Последним взгромоздили его на подводу. Чемодан был опечатан сургучными, как на почте, печатями; и старик извозчик немало тому дивился. Тайное, видать, везет; косился на жуткий чемодан. Барин, можно, я покурую? Какой я тебе барин, я товарищ, хотел было оборвать старика Юровский — и осекся. Завтра в город войдут чехи и белые войска, и снова здесь будут баре, господа, светлости и степенства. И не будет его нового мира, их мира, что так жестоко, падая раненой грудью на горы трупов, самозабвенно строят они.

Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, — шепотом считал багажные места Юровский. Потом прыгнул сверху багажа и крикнул старику: гони!

...Они примчались на вокзал, сгружали багаж на тележку носильщика, и Юровский залился белым молоком ужаса. Что с вами, барин? Он еле разжал зубы. Деньги забыл. Деньги? Ну это вы, барин, поспешили... так я слетаю? Мигом? Он ушами строгими и чуткими, как у пса, слушал выкрики кондукторов: литерный номер сем-

надцать-тридцать два отправляется на Москву через пятнадцать минут! Отправляется на Москву... Нет, друг, не получится у нас ничего. Спасибо, но не надо!

Рука в пустом нагрудном кармане замерла. Дать телеграмму с дороги! Чтобы встретили в Москве и привезли с грузом в гостиницу! Нет, прямо в Кремль!

Где он забыл бумажник? Дома? Нет, в Доме. На столе. В комендантской. А может, его украла Пашка? Эта стерва. Воровская девка. По роже ее видно, что сцапать может, и не охнет, и не застыдится.

Пашка. Он вспомнил комендантскую в ночь перед расстрелом; и стол, застеленный зеленым сукном и прикрытый, для красоты, битой плахой грязного оконного стекла. Под стеклом лежали сухие цветы и исписанные вдоль и поперек бумаги. Еще лежала фотография Ленина — та, где он говорит речь на броневике в Петрограде, и портреты Маркса и Энгельса. Оглядывался. Глаза хватали, будто крали. Серебряные шишечки на никелевой спинке койки. Оторванная медная кнопка на черной кожаной обивке стула. Рояль. Этот чертов рояль. Мошкин все время хотел петь, пить и гулять. Они держали на рояле бутылки с водкой и красным вином. А потом держали оружие. Уже не молотили, веселясь, по клавишам; револьверы валялись внутри рояля, на желтых, стальных и медных струнах. Струны чуть позванивали, когда солдаты лезли в рояль, как в шкаф, за оружием...

Бумажник со всеми купюрами — полбеды. Он забыл дома главное. Он забыл дома свою мать. Ее схватят белые и расстреляют, думал он медленно и спокойно. Расстреляют, ну и что, думал он, и меня тоже схватят в поезде и расстреляют, и теперь что? Всем одна участь. И это та революция, которую ты ждал, которой ты хотел так страстно, что во имя ее бросил все, что тебе было дорого, и ушел за ней — во тьму, в снега и ссылки?

Да, это та самая революция, ответил он себе и сжал зубы, а старик извозчик рядом с ним согнулся весь в три погибели, что-то понял про него — и побежал от него прочь, а может, он просто изменился в лице, и оно у него перекошилось и стало страшным, как у мышиноного царя Щелкунчика из старой немецкой сказки, что мать, старая тетя Эстер, по слогам, запинаясь в русских словах, читала ему на ночь. Носильщик катил тележку быстро, изо всех сил, живот выпирал у него под фартуком и мышцы на руках вздувались, он кричал Юровскому: ништо! Успеем! Вон еще только подали! Еще пыхтит! Запрыгнете на подножку, вам ли впервой, товарищ комиссар! И этот меня знает, в веселом ужасе подумал Юровский, а они с носильщиком уже бежали вдоль состава, и он таранился в билет, ища глазами номер вагона, слеп на ходу, втискивался в первый попавшийся, и носильщик втискивал баулы, сумки и чемоданы вслед за ним, и тот огромный чемодан плыл над головами, как черный Летучий Голландец. Осторожней! — хотелось зареветь ему на весь вокзал, — там же царские сокровища! Но он не закричал так, он еще держал себя в руках, а вокзальная толпа колыхалась и несла его на своих волнах, и он чувствовал себя щепкой, и это было позорное, совсем нецарское чувство.

Они вернуться, они скоро вернуться, думал он о белых с ненавистью, но впереди ждала Москва, и Москва была еще красная. И его это утешало. Он протискался дальше в вагон, подтаскивал свои вещи к себе, продвигаясь с ними, как кучер с обозом, по вагону все дальше, наконец нашел свободное место — это была третья полка, стреха, голубятня. Он забросил на полку все свои баулы и тюки — и тот чемодан тоже. Он не верил в бога, но пробормотал: дай бог добраться.

Поезд тронулся, Юровский закрыл глаза. Сосед напротив, развязав узелок с жареными куриными ногами, помидориной и двумя солеными огурцами, с тяжким вздохом сказал: только бы бандиты на литерный не напали! А так все путем, доберемся, тише едешь — дальше будешь! И стал сосед есть жареную куриную ногу, жадно запуп-

ская зубы в мясо, и у Юровского потекли слюнки, но он тут же представил себе отрубленную ногу великой княжны, он не помнил ее имени, лежащую у щедро, могуче горящего костра. И как эту ногу Никулин, оскалившись, берет и в костер бросает.

И так ему сделалось плохо, что он еле успел поднести руку ко рту, нагнулся над проходом и выблевал все, что за завтраком съел, что старая мать приготовила: и паштет из куриной печени, и рыбу по-польски, с яйцом и зеленым луком, и фаршированное яйцами, орехами и сыром куриное горлышко, и печенье с изюмом и корицей, — а все это он отменным кофею с удовольствием запил, а потом еще выкурил дорогую папиросу, и счастье было на весь день обеспечено, — и сосед по вагону, подслеповатый старикашка в похожей на мышеловку засаленной кепке, сочувственно глядел на него и на стыдные его корчи, и шептал, и бормотал: ах, господин хороший, вы, верно, отравились! Юровский утер вонючий рот и сказал: я не господин, а товарищ. И старикашка в кепке замолчал, а Юровский посмотрел на него и ужаснулся: старик был страшно похож на Ленина.

И то правда, Ленин маячил везде, в говорах и репликах, на вокзалах и в деревнях, на газетных свинцовых листах и расклеенных на столбах афишах, в восторженно блестящих стеклах очков красного офицера и в сверкающих ненавистью зрачках офицера белого, — Ленин был всюду и всем, и все, что было Лениным, прожигало душу насквозь, и в эту дыру люди отныне наблюдали свой мир — а мир перестал быть миром, он стал бесконечной войной, и люди повторяли запекшимися губами: Ленин, Ленин, — и мир незаметно стал Лениным, и это было бесповоротно.

«Бесповоротно все», — думал Юровский, тщательно вытирая рот платком и украдкой нюхая платок. За окном вагона неслись летние луга и поля, белые пятна ромашек разбредались по чистой свежей зелени; на болотах розовыми фонарями светились скопления клюквы. Юровский тоже был Ленин, и в очень большой степени; почувствовав себя Лениным, он приосанился, кинул косой взгляд на огромный чемодан на высокой, под грязным вагонным потолком, полке, вспомнил, что лежит под его обтянутой кожей добротной крышкой, и сам собой остался доволен. Дорожная вагонная толпа вокруг него перестала его тревожить. Он понял: Москва его за все похвалит; наказания ему не будет; и все, что он сделал, он сделал по велению страны, трудового народа и Ленина.

И Юровский понимал: он — мессия, и он выполнил миссию, и он едет и везет в Москву красный факел — факел свободы от старого мира. От царей. Он их растоптал. Он их втоптал в землю. Он их унизил и обратил в пепел. Он вспомнил, как на полосатой, как атласный старый барский халат, стене Дома он торопливо написал по-немецки толстым плотницким карандашом, выпавшим из кармана у Никулина: «СЕГОДНЯ НОЧЬЮ ЦАРЬ ВАЛТАСАР БЫЛ УБИТ СВОИМИ ПОДДАННЫМИ». Откуда всплыл в его памяти и ударил его по глазам черный огонь этих слов? Чьи они были? Когда умерли и когда ожили? Он не знал. Писал, как во сне. Подошел Никулин и вытащил у него из сведенных судорогой пальцев кургузый обгрызенный карандаш. Что ты тут черкаешь, комиссар? Слова. Какие слова, прочитай! Он медленно прочитал, по-русски. Ты все правильно написал, товарищ Яков, сказал Никулин, мы восстали и убили его. Все правильно. Все справедливо.

А он стоял у стены, искусанной пулями, еще заволочнутой пороховым сизым, как крыло голубя, дымом, и ему было все равно.

Поезд ударил колесами коротко и страшно, как больным сердцем, в железные ребра вагона и встал. Старикашка в кепке проскрипел: курочки не хотите ли? Юровский отвернулся к окну и не сказал ничего. Он думал о Никулине. Никулин тоже должен был выехать в Москву. Завтра. С мандатом от Уральского Совета и с маузером на боку. Он будет охранять два вагона с царским добром. И еще при нем будет ме-

шок. Они с Никулиным нашли, какой погрознее. Совсем затрапезный; а в Перми Юровский велел Никулину переоблечься в крестьянскую одежку и мешок тот держать у себя под ногами, чтобы ногами его все время чувствовать. Никулин предложил: а может, его веревкой к поясу привязать? — на что Юровский спросил: а как же ты с мешком до ветру ходить будешь? И рассмеялся жестко, хрипло, уродливо.

Там, за спиной, они оставили пустой Дом. Сняли все караулы. Всех бойцов, что Дом охраняли, отослали на фронт, воевать с беляками. И дорога у них у всех была одна — сражаться не на жизнь, а на смерть; если белогвардейцы захватят их в плен и прознают, что они — охрана царя, — казнить будут долго, медленно, с самыми дикими пытками.

В его чемодане — золото и брильянты. В никулинском мешке — жемчуга. Перстни, браслеты и диадемы, колье и броши они не считали. Много пропало! Но что с возу упало... Не вернешь того, что прожито. И сожжено.

Колеса стучали. Поля расстилались. Леса летели. Юровский сапогом закатал свою блевотину под вагонную полку. И подумал про себя: я пес.

Ему казалось: брильянты в чемодане шуршат и перекатываются. Говорят с ним. Он слышал голоса царей. Усмехался сам над собой. Он, в тряском прокуренном вагоне, перед грязным стеклом окна, еще не пробитым пулей, среди вони и смрада разномастного люда, был сам себе царь — хоть на один день, на то время, пока поезд мчит его к Ленину.

И пусть появится любая развеселая банда, пусть поезд густо обстреляют беляки, пусть дряни убьют машиниста и ворвутся в вагоны и станут грабить пассажиров, — теперь уже было все равно: он ехал царем, и он владычествовал над собой и страной, и он сделал, что хотел.

* * *

Михаил спал некрепко и вдруг проснулся, как не спал. Ему почудилось: он висит в воздухе над койкой. Он был, странно, один. Вся охрана делась куда-то. Чуть позвякивали железные пружины под его телом. Он завозился, пружины зазвенели громче; затих — пружины продолжали звенеть.

— Что за черт, — сказал Лямин в полный голос и спустил с койки ноги. Пружины звенели весело и беспорядочно, сами по себе. Встал. Огладил колени, расправляя штаны. Спал одетый. Раздеваться не было сил. Вытер пот с шеи, со щек. Дверь слегка отворилась.

«Ага, вот кто-то из наших возвращается». Дверь дернулась и опять закрылась. Лямин остановившимися глазами смотрел на нее. Открылась опять, пошире. В черную щель втиснулись плечо, рука, пять пальцев высывались из обшлага пиджака и радостно, насмешливо пошевеливались. Кто-то невидимый за дверью пальцами перебирал: то ли дразнился, то ли зазывал.

— Уйди, — сказал Лямин потерянно, потрясенно, а голоса не было.

Вслед за плечом и рукой в дверь протиснулась нога в начищенном башмаке. Потом к ней приставилась другая. Дверь открывалась все шире, и в комнату влезла грудь, обтянутая жилеткой, и другая рука, и спина, и весь пиджак. А голова? Голова где?

— Где голова?! — крикнул Мишка, и ему казалось: он слышит свой крик.

И как только он крикнул это — явилась голова. Мощная лысина. Белый кегельный шар. Голова глубже протиснулась в щель, плечо нажало сильнее, дверь тоненько, жалобно застонала и распахнулась вся. Вслед за лысой, страшной, громадной, как земля, головой человек из двери вышел весь. Он был маленького, даже слишком маленького роста. На собачку похож. Или на маленькую обезьянку.

«Карлик... Откуда он тут? Может, из цирка? Может, я сплю?» Лямин крепко ущипнул себя, крутанул пальцами кожу на запястье. Охнул. Под кожей расплывалась кровь. «Эка я. Как гусь клювом, чуть мясо из себя не выщипнул».

Лысый карлик нагнул голову, рассматривая Лямина исподлобья. Мотнул головой туда, сюда. Из окна сочился голубой лунный свет. Лысина человечка блестела точеной слоновой костью. Он раскинул ручки и растопырил пальцы, словно приглашая Мишку то ли к беседе, то ли к призрачному застолью. То ли молча говорил: ну вот и все, дорогой товарищ, и нечего мне вам больше сказать, вы сами с усами, и все уже совершилось.

— Где я видел тебя, — пробормотал Лямин. Пот стекал у него с надбровных дуг под брови, на веки.

Лысый карлик шагнул к нему, еще шагнул, и Лямин попятился.

— Ну, ну, товарищ. Что вы так напугались? Я не кусаюсь.

Лямин замер.

Человечек радушно, склонив лысую башку к плечу, поглядел на него. Коротко рассмеялся, потер коротенькие ручки.

— И сесть не пьигласите? Тогда я сам сяду. Не тьевожьтесь! Вы в полнейшей безопасности. Пока, ха-ха, вас не клюнул жайеный петух! Сами знаете куда! Ха! Ха!

Лямин обеими руками отер мокрое лицо. Человечек уселся на стул, положил ногу на ногу. Один башмак чистый, надраенный до зеркального блеска; другой — грязный, и грязь налипла комками, красная, рыжая могильная глина.

Он нагнул голову. Лысина блеснула в лунном свете. Лысина сама взошла, как Луна — только не на небесах, а в комнате, напротив потерявшего дар речи Лямина.

— Что же вы молчите? Меня — узнали? Вижу, вижу, что узнали! Да кто тепей меня не знает! Меня, батенька, знает тепей весь мий! Вы смотьте на меня и думаете: это пьизьяк! Не-е-е-ет, батенька, уж увольте! Какой я пьизьяк! Я самый настоящий, и пьядвиее меня нет никого на свете! И знаете что, по секьету скажу, — и не будет!

Лямин протянул руку. Он хотел дотянуться до керосиновой лампы на столе и разжечь ее. Он еще не успел прикоснуться к ней — она дернулась, как живая, отскочила от него по столу, подъехала к краю, и упала, и разбилась с легким жалобным дребезгом.

Он смотрел на тонкие осколки на полу, и дрожал, и шептал себе: не дрожи, уймись, утихни, все сон и бред.

Лысый карлик обцепил ручонками свое выставленное вверх колено. Покачивался на стуле. Рассматривал Лямина, как жука в гимназической коллекции.

— Вот вы, товарищ, на меня так смотьте, будто бы я у вас куйицу укьял. Или вас в кайты обыгьял. А я вам, между пьочим, стьяну подайил! Целую огьомную стьяну! С йеками, моями, океанами, гоами, дойогами и полями, дейвенями и гойодами! С людьми, между пьочим! Люди, батенька, ведь это тоже матейял! Да еще какой! А вы и не догадывались?! Ого-го какой матейял люди! Самый наипейвейший!

Лямин раскрыл рот, и наконец голос излетел из него.

— И я, по-вашему, матерьял?

— И вы, батенька! И вы! Еще какой! Вы — кийпич в такой фундамент, на каком мы постьоим такое здание... никому в мийе не снилось! И надо сказать, такие кийпичи скьепляются только — знаете чем? Ну? Чем?

Лямин почернел лицом.

— Вейно! Кьовью! Только кьовью, и больше ничем!

— Неужели без крови нельзя? — еле выговорил Лямин. Щеки его пошли рябью, как река под ветром; он скрипел зубами.

Лысый карлик радостно всплеснул ручонками.

— Нет! Нет и нет! Стюительство будущего тьебует только кьови! Вот пьедставь-те себе. Цай Петъй Пейвый задумывает возвести на болотах новую столицу. Нагоняет со всей Йоссии в чухонские болота мужиков. Бьет их батогами. Коймит чейт-те чем. Они мьют как мухи! А гойод, гойод встает из болот! Йождается! Петьогьяд стоит, товайищ, на кьови, и только на кьови! Но если бы этой кьови не было — был бы Петьогьяд?! А?! Была бы слава Йоссии?! А?! Не слышу!

Карлик прижал к уху ладонь, сложив ее раструбом.

— Нет, — ледяными губами вылепил Михаил.

— Именно так! Вот и делайте выводы!

— Мы — кровь...

— Да! Точно! Вы — кьовь! И больше ничего! Матейял, из котойого лепится жизнь!

— И вы считаете... — Это было чудовищно, но они беседовали. Как два простых, живых русских человека за ночным чаем, за рассеянным пасьянсом. — Что пролитая кровь — это всегда добро? Не зло? <...>

Лысый человек выпустил его руку. Пальцы растопырились, жадно щупали воздух. Наткнулись на подоконник.

...Он стоял у подоконника один, совсем один, и тупо, слепо смотрел на фонарь, си-нею лысой луной горящий перед Ипатьевским домом. <...>

* * *

Они успели покинуть Екатеринбург еще до того, как в него вошли белогвардейцы.

Сперва держались рядом. Лямин то и дело косился на Пашкин живот. Да, он рос, но был пока незаметен под широкими штанами и гимнастеркой, ее Пашка частенько надевала навывпуск. Михаил время от времени говорил ей: Пашка, кончай воевать, давай я тебя где-нибудь на Волге, у своих, спрячу. Брал ее ладонями за щеки, заглядывал в лед серых глаз и спрашивал: поедешь со мной в Жигули? Жить со мной — поедешь? Она молчала, дергала головой, и его руки слетали с ее лица, как вспугнутые, голодные птицы.

Они видели перед собою вокзалы, дороги, дышащие терпкими дымами паровозы, плачущий и хохочущий народ, голодных, что тянули руку у обочины, и сытых, что катили мимо в быстрых пролетках. Видели шоферов с лицами дьяволов из бездны, за рулем обляпанных грязью авто, а в кузове — мертвых детей, сваленных штабелями и смердящих. Видели людей в белогвардейской форме, прямо и гордо идущих в рыдающей, летящей по ветру мусором толпе; и людей в красноармейских островерхих шапках-богатырках, похожих на луковицы, а может, на торчашую вверх, к небесам, женскую грудь. Видели, как отощавший безумный ребенок жует, как лошадь, ветки вербы и как бывшая барыня, дрожа пальцами, руками и всем тщедушным тельцем, продает на рынке за бесценнок дорогой, с тяжелым кровавым рубином, княжий перстень.

Они видели многое — и молчали; а толку что было в речах? Речи уже сказали все, уже не слушают речь. И надо просто идти и смотреть.

...А запоминать — не надо; нельзя помнить человеку нечеловеческое.

...Пашку направили в степи под Белорецк, а Лямина, как и хотело красное начальство, в сводный Уральский отряд к Каширину и Блюхеру; но, пововав осень под Красноуфимском, отшвырнув белых за Сылву, он попросился у командования перевести его туда, где теперь сражалась Пашка.

Пашка написала ему всего одно письмо — в Оренбург. На почтамт он забежал случайно; сердце тревожилось, что-то чуяло. Ему протянули из прозрачного окошка грязный, мятый конверт. Он с трудом, и смеясь и плача, разбирал, стоя под громад-

ной хрустальной, буржуйской, еще не убитой люстрой почтамта, Пашкины удивительные караули.

«ОРИНБУРГ ПОЧТАМП ЛЯМИНУ МИХАИЛУ ЕФИМОВУ ДО ВАСТРЕБОВАНИЯ В СОБСТВЕННЫЯ РУКИ. МИШКА Я ВА ВТАРОЙ НИКАЛАЕВСКАЙ СТРЕЛКОВАЙ ДИВИЗИЕ ПОД НАЧАЛОМ ВАСИЛИЙ ЧАПАЕВА. ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СВИДЕЦА ПРИЕЖЖАЙ КВАРТИРУЕМ СЧАС В КУРОЕДОВЕ. ЕСЛИ НЕ СМОЖИШЬ НЕ ПОМИНАЙ ЛИХОМ. ПАШКА».

...Когда он прибыл в село Куроедово, в расположение войска Чапаева, и шел пустынной, мертвой улицей, он не думал ни о чем; ни о том, зачем сюда приехал, ни о том, как вдруг увидит ее и какая она стала, — голова была пуста и звенела, как подмерзлая в кладовой тыква, и звоном под сапогами отзывалась жесткая, как лист железа, в белесых от инея земляных комьях, дорога под ногами.

Сапоги ступали размеренно, шел медленно: под Красноуфимском его ранило, да легко, неопасно; он вспомнил, как в войсках Брусилова, на Западном фронте, его однажды зацепил осколок, а вокруг солдаты весело гоготали: «Царапина!»

Винтовка моталась за спиной. Смеркалось в октябре рано.

«Вот уже и год прошел. Промелькнул. С той октябрьской ночи».

Год исполнился его революции; революции их всех, кто хотел иной жизни.

«А стала ли лучше жизнь? Оно, конечно, можно смело себе приврать, что стала».

Усмехнулся, губы дрогнули нехотя. Воевать — устал. Молоть языком, рапортовать, байки баять — устал. «Утомился калякать. А сейчас приду... расспросы... балясы... бумаги класть на стол... а вдруг не здесь, вдруг — снялись отсюда?.. но она ж сама начеркала: Куроедово...»

Сам себе страшился признаться, что из-за нее приехал. «Как там дите в ней? Не скинула бы. Вояка».

...Все было как обычно. Представился. Отчитался. Предъявил документы. Был принят в отряд. О Пашке — ни слова не сронил. «Само все выявится. Не надо тут торопиться».

И все же, когда шел к избе, где его расквартировали, оглядывался, настороженно, по-охотничьи, и опять раздавливались черные, сизые комья холодной земли под сапогами.

Дошел до той избы, что ему указали. Уж вскинул кулак, чтобы постучаться. И застыл со вздернутым кулаком: к нему по улице шла баба в офицерских галифе, в гимнастерке навывпуск, с большим торчащим животом, и в этой животастой бабе в галифе он узнал Пашку.

— Здравствуй, — тихо сказала ему, а может, и не сказала. Может, почудилось. Он взбросил руки, чтобы обнять ее. Пашка стояла недвижно. Не шевельнулась. И он опустил руки — смущенно, обозленно.

Тоже сказал, еще тише, чем она:

— Здравствуй.

А может, и смолчал. Так стояли. Долго? Коротко? Михаил опомнился первым. Постучал в дверь.

— Да тут открыто всегда, не трудись, — сказала Пашка и, сунувшись вперед него, навалившись плечом, с натугой открыла тяжелую, на легком осеннем морозце забухшую дверь.

Вошла первой. Он — за ней.

— Я вам тут бойца нового привела!

Слишком весел, пронзителен был ее крик, забился голубем под низкой матицей.

Вокруг стола сидели люди. Кто в шинелях, кто в куртках, кто-то даже в вязаной женской кофтенке. Лямин стоял у притолки, дальше не шел, будто сапоги у него примерзли к полу.

— Кто таков?

— Лямин Михаил! Из-под Красноуфимска прибыл!

— А, красноуфимский. Садись!

— Повечеряй.

Лямин краем глаза скользнул по разваренной, в оббитых мисках, белой картошке, по белым усам капусты, свисающим по краям стеклянной пузатой банки, по початой четверти — голубая жидкость плескалась и ходила крылатыми тенями за плоскими гранями толстого стекла.

— Спасибо.

Спасибо сказал, а все стоял. И тогда Пашка легонько толкнула его в спину.

— Это мой приехал, — громко и мрачно сообщила всем.

А потом сама села на край табурета, и табурет чуть хряпнул шатким сиденьем под ее уже тяжелым телом. И тогда, краснея лицом, шеей и, может, даже животом, сел и он.

...Обернулся: кто-то на него долго, холодно смотрел, а от чужого взгляда стало жарко и тяжело.

Беловолосый, патлатый, жесткий, черствый. Плюгавый!

— Латыш, — сказал одними губами.

— Здорово, — сказал Латыш, протянув к Мишке руку, крепко подчеркивая все три буквы «о».

И Лямин, смешавшись, руку эту крепко пожал. Ему уже наливали водки в длинный, похожий на каменный «чертов палец» стакашек, уже били его по плечам, толкали, он уже посмеивался, уже опрокидывал водку в рот и спешно, слепо искал на столе, чем закусить, и ему на вилке соленый помидор тянули, и он глотал холодный терпкий помидор, как сгусток огня, и зрячей спиной видел брюхатую Пашку, а боком — Латыша, а затылком — невидимый мост, перекинутый над ним, жующим, от Латыша к Пашке.

Еще один стакан, и еще один помидор, и еще один смешок.

— А мы-то думали, у ее другой ее!

— А вон ее, оказалось, какой.

— А сколько ж у ей — еенных?

— Эй, бабонька, а не запутлякалась часом в своих-то?

Он зверьими ушами слышал, как она, сидя сзади него, громко и жадно жует. И даже слышал, как глотает.

«Кормит-то ведь двоих... себя — и его...»

Шоркнули ножки табурета о половицу. Пашка встала. Переваливаясь, пошла к печи. Обернулась, и он обернулся. Она поймала глазами его глаза.

— Вы тут без меня в слова поиграйте. Спать хочу. Бой завтра.

Встала на лавку, и Лямин видел, как она сначала завалила ногу на печную ступеньку, потом перевалила на печь свой живот. Там жил его ребенок. «А может... Латыша!»

Пашка долго возилась на печи. Укладывалась. Подкладывала под голову старые цветные тряпки, мятые занавески. Укрывалась овчинным тулупом. В густой, слипшейся овечьей шерсти старого тулупа можно было заблудиться.

* * *

Он удивлялся: она все еще сидела в седле. На коня забиралась тяжело, хваталась руками за сбрую, скрипела зубами, взваливала себя в седло, как куль с мякиной, иной раз кого, кто рядом маячил, и посадить просила, — а все еще упрямо скакала

верхом. Михаил загибал пальцы, чтобы сосчитать месяцы: сколько времени там, в ней, вертится и бьется эта крохотная непонятная жизнь.

«Страшно и подумать. Дура она! Скачет. Скинет, как пить дать! В бой с нами хочет. Куда переться дуре брюхатой?» Думал о ней со злобой и с такой огромной, щемящей, щенячьей нежностью, какой никогда и ни к кому не испытывал.

Чапаев скомандовал всем двигаться в сторону Троицкого. Кто торопился, дергал и стегал лошадей; кто ехал размеренно, спокойно озираясь, но всякий, Михаил чувствовал это сердцем и кожей, боялся.

Этот страх. Он не забыл его еще с тех, западных окопов. Страх перед боем. «Да и Пашка не забыла. Как забыть?»

Он подъехал к ней, натянул поводья. Она скакала чуть впереди, на полкорпуса.

Сам не знал, как это вырвалось у него.

— Паша... Нельзя тебе туда. Не надо! Я... дите наше еще на этом свете поглядеть хочу!

Она ехала, даже не обернулась. Но он понял: она все услышала и поняла.

Показались крыши Троицкого. Тут была сожжена добрая половина изб. Далеко были слышны густые, частые выстрелы. Словно пулял в пустые небеса давний, позабытый господский фейерверк. Офицер, он имени его не знал еще, пристально и, казалось, гадливо глядел в бинокль на далекого врага.

Пашку из виду потерял. Взобрался на коня. В коленях ломило. Ступни в сапогах мерзли — неряшливо, слишком быстро обмотал портянками ноги.

Красные цепи катились и катились, и дымное утро сверкало инеем под лютым, одиноким солнцем — слепым глазом старухи-степи. Командир Чапаев ехал далеко перед полком — Лямин видел весело мотающийся хвост его коня. Слева, левее сожженного села, перед самой речкой, в ночи уже схваченной первым тонким, паутинным ледком, шел еще один полк. Справа — еще; и были Лямину отсюда видны островерхие суконные богатырки на головах бойцов.

«Где она, дура моя?» Сильно, жгуче жалел, что не поскандалил с ней, в селе, в избе не оставил. Латыша тоже вблизи себя не видел. Он знал его ледяное, лютое бесстрашие и знал, что в любом бою Латыш полезет на рожон и что перед ним, плюгавым, могут полечь толпы, наподобие травы под косой. Ветер налетал, крепчал, гнул, чуть не сбивал бойцов с седел.

Когда объехали Троицкое — тут и ударил враг. Лупили и пулеметным огнем, и артиллерийским. Михаил сжался, сам для себя вдруг стал очень маленьким, крошечным — вжался в седло, обратился в ярмарочного Петрушку: легкое тряпичное тело, грубые, суровые швы. И рожа свеклой раскрашена. Внутри, вокруг сердца, потроха то зажигались, то гасли, то тлели, то холодели.

За ними, конными, перебежками перемещались по полю цепи. Орудийный огонь посекал людей, и цепи разрознились; бойцы падали и ползли, цепляясь за инистую землю, за палые листья скрюченными, отчаянными пальцами.

Лямин слышал крики:

— Впере-о-о-од... Впере-о-о-о-од!

Сам ли он кричал, рядом ли с ним кто — не сознавал, не понимал. Огонь густел, и внутренности разгорались все жарче; ему казалось: конь под ним сейчас воспламенится. Свист пуль резал не уши — душу. Душа свежей рыбой лежала на кухонной доске огромного пустого поля — и по полю скакали и стреляли друг в друга люди, что вчера обнимались на свадьбах и за одной бутылкою мутной дурманной корчмы пели родимые песни. «Любо, братцы, любо... любо, братцы, жить...»

Страх все больше разжигал его, он весь уже превратился в костер страха. Никогда ему так сильно не хотелось жить, как теперь — именно потому, что он ждал

ребенка, что Пашка ждала, да все равно, черт дери, чей это ребенок, лишь бы родила! не померла!

Лямин глох, в грохоте, огне и дыму перестал слышать. Да и видеть почти перестал; конь сам нес его, Лямин стрелял из нагана, помня о том, что слева у него на боку еще заряженный маузер, — стрелял, и вдыхал судорожно и глубоко водочной крепости дым и гарь, и вдруг крикнул в этот пьяный клубящийся дым:

— Пашка! Ты где!

Из дыма донеслось — так далеко и тихо, будто бы из-за черных облаков:

— Мишка! Я тут!

К нему из дымных клубов на взмыленном, потном коне вылетела Пашка, она села в седле странно строго, прямо — впереди нее на спине коня лежал ее живот. Лямин ополоумел от радости.

— Пашка! Дура!

У нее в руках красным мокро светилась нагая сабля. И он понял: она рубила казачьих саблей, и не охнула, и не пикнула, и — не стошнило ее от вида крови и отрубленных рук и голов прямо на холку коня.

— Сам дурак!

— Будь рядом! — орал он бешено.

— Не приказывай мне! Ты не командир!

— Я твой командир! — вопил, уже все забыв, весь мир забыв и видя только ее, потную, с прядями серых волос по лицу, с огромным животом, давящим книзу коня, с этой красной влажной саблей, с которой вниз, в заиндевелую сухую траву, капало красное, страшное.

— Вот еще!

— Нам надо войти в Троицкое! — кричал Михаил, надрывая глотку. — И скоро войдем! А ты — схоронись! Схоронись, слышишь?!

Пашка не ответила. Он видел — с ужасом и восторгом, — как она дала шпоры коню, чуть нагнулась вперед и быстро поскакала к Троицкому, хвост ее коня развевался яростно, круп конский потно и жирно блестел, страстно стрекотали пулеметы — и с той, и с другой стороны, и с той и с другой стороны били все точнее, все безжалостней, все четче.

Мимо него проскакал командир Чапаев. Он скакал за безумной Пашкой.

...Лямин еще слышал далекое, дикое: «Ого-о-о-о-нь!» — а уши все сильнее закладывало, все сильнее он глох, не различая криков и свиста пуль, булыжного грома снарядов и стонов раненых. Он, трясясь на коне, вдруг понял: он забыл, за что они воевали. За что он сейчас, вот сейчас воюет. «За что... за что мы бьемся... за какое такое счастье... за какую землю...»

Там, далеко, через грохот и вой, что ему не преодолеть, скакали Чапаев и Пашка; Пашка вламывалась в самую гущу боя, и хоть бы царапина, хоть бы ранка малая, — странное свинцовое, дикое небо хранило ее, кутало, укрывало собой, согревало, защищало — ее и того, кто ютился в ней, рос и расширял ее.

Он, среди боя, жутко и весело улыбнулся. Зубы и белки сияли на выпачканном грязью и кровью лице. Из задетого пулей уха на шею, за ворот гимнастерки стекала, застывая, кровь. Это не рана, баловство одно: и он тоже как заговоренный, и он живой.

Цепи поднялись, бойцы кричали «ура-а-а!» и бежали, по приречным холмам и лощинам, к погорелому селу. Черные сгоревшие избы виднелись уже близко. Михаил проскакал мимо разбитых позиций врага. Около молчащих пулеметов валялись изрубленные в крошево тела казаков. Он прищурился и смог разглядеть оставшийся в живых мир, дым уже медленно истаявал, вечерело, солнце садилось: в Троицкое рысью влетали на конях бойцы, офицеры, Чапаев и рядом с ними — Пашка.

Пашка держала в кулаке поднятую над головой саблю. Сабля розово блестела в догорающем солнце. Хвост коня вертелся помелом. Лямину почудилось: он слышит длинный, торжествующий, будто похмельный, Пашкин крик и видит ее дикий, распяленный рот, и как дрожит язык во рту, и как горят ее бешеные, ледяные глаза.

* * *

...Она уж и сама поняла: на сносях. Живот на нос лез. Не до боев было. Чапаев бил колчаковцев, красные с муками, с потерями, но занимали село за селом, станицу за станицей. Взяли Аксаково. Пашка уж верхом на лошадь не садилась: тряслась в телеге, в обозе.

Когда вошли в Аксаково — определились в избу первыми после командира. Чапаев заботливо глядел на Пашку, иной раз гладил ее по плечу и приговаривал: солдат ты наш, бабеночка, дитеночка родишь, а как назовешь? Может, в честь меня, Васькой?

Лямин курил, плевал на сигарку, мял в пальцах. «И за что ее, сердитую, злюку, так любят все?»

Хозяева, старики, муж и жена, и с ними малый внучок, белокуренький и дико худой, хуже сушеной тарашки, норовили налить Пашке супцу погуще и погорячее; из ржаной муки бабка пекла тоненькие лепешки, тоже Пашке заботливо подсовывала, а Лямин лишь нюхал ржаной аромат.

Она грызла лепешки, вдруг во весь рот, нагло блестя зубами, улыбалась ему.

— Не трусь. Не я первая, не я последняя.

...Все настало до будничного просто. Пашка вышла с ведрами, пошла к колодцу, черпнула воды, возвращалась в избу — и Лямин, сидя за столом и грея ладонь об остывающую печь, услышал серебряный звон ведерных дужек и низкий женский вопль.

Ринулся во двор, в чем был — без сапог, босой. Стопы крючились, мерз, дрожал: ночью напало снегу. Пашка валялась посреди двора, ведра укатились к забору. Вода вылилась на снег, прожгла в нем синие ямы и черные разводы.

Она орала низко, басом. Лямин, дрожа, наклонился над ней. Он видел только ее рот — рот стал огромным, как вскипевшее и булькающее озеро, рот ее кричал, как в бою, нет, страшнее. Она раскинула руки по снегу, сжимала и разжимала пальцы. Подняла руки, положила на живот. Живот то страшно и высоко поднимался, то, дергаясь, уходил вниз, становился плоским; потом опять громадно, жутко топорщился.

Пашка оскалилась по-волчьи. Из-за туч выкатилось солнце, оно тарашилось, вылезало из орбиты неба, росло, пучилось, пульсировало.

— Что... родная?..

— Начало-о-о-ось... умру-у-у-у!

— Ты терпи, — бестолково бормотал Лямин, — терпи...

Он в Буяне не раз видал, как рождаются телята, поросята, козлята. А здесь шел на свет головкою вперед — человек. И женщина выгибалась, царапала себе живот, мотала головой, и волосы ее вымачивались в снегу, она упиралась в снег затылком и приподнималась над землей на пятках, а потом опять падала на спину и силилась перевернуться на бок — зачем?

— Шас я тебя... в избу унесу...

Он просунул руку ей под колени, другою обхватил под мышкой. Мишка взошел на крыльцо, ногой толкнул дверь и внес ее в избу. Она дернулась у него на руках раз, другой очень сильно, и он побоялся ее уронить. Скорей положил на кровать. Кусал губы. Подбежала бабка. Через открытую дверь нахально и весело влетали холод, ветер и снег; слышно было, как далеко, в сарае, кашляет и хекает дед — он колот дрова.

— Уйди... уйди...

Бабка замахала на него рукой.

И тут Пашка распахнула заплывшие глаза.

— Баушка... пусть он... рядом...

Сжала кулаки. Вздернула оба кулака над головой.

«Будто... в атаку идет!»

Потрясла в воздухе кулаками. А потом вдруг ими обоими — с силой — ударила себя по ходящему громадными волнами животу. <...>

Мишка вдруг почувствовал, как Пашкино тело ослабло, обвисло, поникло, — замерло. И крик перестал. Губы мотались красными тряпками, а крика больше не было. Щелки глаз сомкнуты. Вздувшееся мокрое лицо медленно, пугающе бледнеет. Не дышит.

«Умерла».

— Нет! — крикнул он так, что сруб едва не расселся.

— Погляди... лови-ка... да нет, давай я...

На кровати, под согнутыми голыми ногами Пашки, шевелился красный, мокрый, смуглый, голый зверек.

Михаил с трудом понял: это — ребенок.

— Бабка... почему он... молчит?! Почему он не орет, бабка?!

И тут, будто по его приказу, младенец впервые в жизни вдохнул, его легкие с болью расправились, развернулись в нем, внутри, двумя красными листьями, он вдохнул еще глубже — и от первой лютой боли заорал, как резаный поросенок, взвывая резкий красный крик до потолка избы, пробивая им опалубки и крышу:

— Йа-а-а-а-а.... йа-а-а-а-а-а!

И на этот всевластный крик дрогнуло и пошло крупными волнами все недвижимое, обмякшее тело матери, Пашка разлепила глаза, они горели на измученном лице так ярко и чисто, что Михаилу захотелось упасть перед ней на колени.

Он и упал — громко бухнулся перед кроватью. Время не шло — стояло.

— Хозяйка... — Он обернул к бабке невидящее лицо. — Ты что-нибудь — ну, пеленки — почище притащи...

Бабка прошаркала к дубовому шкапу, дверца отъехала с тонким протяжным скрипом. Мореный дуб блеснул в полутьме избы, и блеснуло приделанное к дверце зеркало. Зеркало отразило страшное, искореженное временем бабкино старое лицо, сходное с изрытой корой старого дуба, Пашку на кровати, с все еще согнутыми ногами, испятнанные кровью простыни, полотенца и одеяла, орущего взхлеб младенчика и Мишку на коленях перед кроватью.

Все они стыли, замирали в зеркале, еще дрожали жизнью, но уже затихали — там, внутри зеркала, время останавливалось навек — и они вмерзали в зеркало навек; кто-то другой, века спустя, придет, откроет старый шкаф — зеркало блеснет, а там — они.

Но не разбить гладкий лед. И не схватить за руки. И не расцеловать, не прижаться мокрой, в слезах радости, щекой.

Ребенок все кричал. Пашка протянула слабые ветви-руки. Они качались, как на приречном ветру.

— Дай... дай мне...

Михаил вскочил, себя не помня. Взял на руки младенца. Чуть не уронил опять на кровать: так неистово скользок, увертлив он был, весь бился, тоже как давеча безумная рыба-мать, только — малая рыбка.

— Ах ты...

Бабка сунулась ему под локоть с чистыми тряпками. Он положил в тряпки ребенка. Бабка, заботница, завернула углы. Он, дрожа, поднес ребенка к груди Пашки. Мать

взяла на руки ребенка и положила себе на живот. Он, в тряпках, кричащий, у нее на дышащем животе поднимался и опускался, как на качелях.

— Ну... подыми меня... сесть хочу...

Он подтащил ее, ухватив под мышки, к никелированной спинке кровати. Подложил под спину подушку. Она ухватила младенца одной рукой, угнездив его себе на локте, в сгибе руки, а другой быстро, будто век это делала и привыкла так делать, распахнула себе гимнастерку на груди, пуговицы расстегнула — и из лифа выпростала набухшую молоком, белую, в голубых тонких жилках, грудь.

Ребенок искал и наконец ухватил сосок. Мишка глядел, как ребенок жадно сосет. Его крохотные, как цветы ромашки, ручонки беспорядочно ползали по груди матери. Пашка крепче прижала ребенка к груди. Подняла голову.

Михаил ослеп от света ее лица.

* * *

Недолго провалялась в кровати Пашка. На третий день после родов уже воду таскала, обед стряпала. С ребенком обращалась так ловко, будто целый век с детьми возилась.

Дни шли, и недели летели. И люди делали свои печальные и радостные дела. И складывали оружие, и чистили винтовки, и собирали обозы.

Земля горела, и зима горела изнутри — мощными слепящими звездами по ночам, факелами, кострами, печами и спиртовками, на которых пищу готовили и чай кипятили. А днем пылало над людьми вконец спятившее солнце — белое и жаркое, как летом, и в феврале на пригорках уже всю сон-трава цвела.

Красноармейцам нельзя было засиживаться во взятых селах. Центр и Чапаев сошлись в одном: надо идти на Уфу.

Михаил пытался втолковать Пашке: останься тут, у стариков, с дитем! нельзя тебе сейчас в бой! парнишку пожалей! ведь кормящая мать ты! — на что она лишь от-малчивалась, сцепив зубы, закусив губу.

И он опять видел, как стирает в лохани и гладит бабкиным чугуном утюгом, полным чадающих углей, она истрепанную, потертую в плотных швах гимнастерку, чистит щеткой сапоги, как втыкает длинный шомпол в ствол винтовки. В углу стояла сабля: саблю ей сам Чапаев за победы подарил.

Сабля Пашкина была так остро наточена, что не дай бог нечаянно сунуть палец под лезвие: палец оттяпает напрочь.

...Пули свистели, и мысли свистели подобно пулям, быстро и обреченно. Бойцы лежали в цепи, каждый думал о пуле. И молился: пуля, не тронь меня.

Молился и Лямин. Кому? Богу? Он даже не называл про себя Его имени. Пуле вот и молился: пулечка-дурочка, птичка-курочка, милая, хорошая, пролети мимо, не тронь меня. И так каждый молился о себе. «Пусть будет мгновенная смерть».

Лежал, потом вскочил, и перебежал, и залег за крохотный холмик, а в груди екнуло: смерть, и все, и больше никогда он не увидит сына? Своего или чужого, об этом он думать перестал. Властно, жестко сказал себе: Мишка, прекрати об этом страдать! Латыша, хоть он мотался рядом, он и видел, и не видел. Смотрел на него, а получалось, что сквозь него.

Они оставили младенчика в Аксакове у тех древних, молчаливых бабки и деда. Белобрысый внучок стоял у печки и ковырял ногтем известь, когда Пашка мялась перед бабкой, переступала с ноги на ногу, не знала, как начать. Потом сунула ей —

из кулака в кулак — мятые, теплые бумажные деньги. Натe, возьмите. Сына моего сберегите. Я потом за ним вернусь. Аксаково сельцо-то?

Бабка развернула большую, как простыня, цветную бумажку, поднесла к столу, поближе к тускло горящей керосиновой лампе, гладила ладонью — расправляла. Дед сидел на лавке, уронив белобородую голову на щедашную журавлиную грудь: он с утра выпил и засыпал на ходу. «Где один внучок, там и двое, Хосподи, помоги нам», — прошамкала бабка, и громко задышала, и беззубо зажевала впалыми губами, и тихо заплакала.

А младенец, крепко запеленутый, лежал на взрослой кровати и нежно, мирно спал — у него еще не было колыбельки, а пьяница дед плел щедрым языком, обещался сладить.

Они тогда вышли из избы, и Пашка быстро пошла, почти побежала к коню, привязанному к пряслу. Добежала. Взлетела в седло. Пока он отвязывал своего коня — она уже скакала в степь, а там, вдали, виднелся обоз, его последние телеги, а впереди обоза черной, сизой, болотной человечьей лавой катилось войско, и он скакал за Пашкой, крепко сжав зубы, и ветер стирал, смахивал у него со щек стыдную слезную влагу.

* * *

...Сухой, противный, быстрый свист — будто ножом провели по чугунной сковороде. Он опять вскочил и, пригибаясь, перебежал — от куста к кусту. Все вперед и вперед. Все ближе и ближе. К кому? К чему? К атаке. «Сколько уж раз я в атаку ходил... и людей подымал...» Зачем считать. Теперь не до счета.

Пашка — на коне. Под ним коня убили. Красивого, умного коня. Он только ногами задергал, заржал коротко, тоскливо — и вытянулся весь, и глаз один закрыл, а другой так и остался глядеть — мертво, холодно, темно. Пашка верхом, а он вот перебежками.

— Впере-о-о-о-од!

«Господи... сколько же раз этот крик...»

Цепь поднялась и тяжело побежала вперед. Сапоги внезапно стали громадными, чугунными.

«Как тот утюг... которым Пашка... гимнастерку гладила...»

Бежали. Потом крик:

— Ложи-и-и-ись!

Лечь — это же счастье. Это — роздых! А может, и жизнь.

Да, да, конечно, это она и есть, жизнь. Ты — живой, и ты — лежишь. К земле прижался. Земля тебя не обманет.

— Впере-о-о-о-о-од!

Поднялись. Бегут, винтовки наперевес.

И мимо — сбоку — по краю цепи — скачут: это красная конница, и сабли наголо, и там, там — Пашка! Он еще видел ее, ее гладкого гнедого коня, ее скачку, бешеную, как ее дыхание, как ее прозрачные глаза, — бешеный галоп, и вся прижалась к конской выгнутой шее, — еще скакали все вокруг нее, опережая ее, стремясь настичь, и разгромить, и уничтожить, и овладеть, — он еще видел ее впереди, хоть она, на коне, становилась все дальше, — как вдруг что-то в воздухе произошло нелепое, подломился сам воздух, его прозрачные, серые зимние слои сместились, хрустнули и стали осыпаться и валиться, и вся земля покрылась твердыми, слюдяными осколками воздуха, — а это Пашка падала с коня, и он, близоруко шурясь, видел это, падала так медленно, что нельзя было поверить в то, что она падает, —

может, это ветер ее сорвал, а сейчас опять поднимет за руки, за плечи и крепко усадит обратно в седло, и она сама посмеется над собой, над сильным и дерзким ветром.

— Пашка-а-а-а-а!

Он так оглушительно закричал, что цепь подумала — он поднимает бойцов в атаку, и все повскакали и рванулись вперед, а пулемет беляков будто обрадовался, зачастил, затрещал густо и жадно, и огонь сметал людей наземь, и они валялись и корчились на земле, обнимая и царапая землю, ударяя ее бессильными, полными боли кулаками, грызли полными боли зубами, — и рот Мишки, полный боли, выплунул в черный огненный мир еще и еще раз:

— Пашка-а-а-а-а! Пашка-а-а-а-а!

Конь еще волок ее за ногу, застрявшую в стремени. Встал. Косился, раздувал ребрастые бока.

Михаил, тяжело топя в намокшей талым снегом шинели, подбежал к Пашке. Не было сил глядеть. Но глаза сами глядели. От глаз не укроешься. Не скроешься от жизни, пока ты жив.

Он встал на колени в грязь и намешанный конскими копытами, измолоченный сапогами снег. Хотел вытащить Пашкин сапог из стремени. Не смог. Выдернул из сапога ногу. Она, как все солдаты, обматывала ноги портянками. Так лежала: одна нога в сапоге, другая в портянке.

Скулы твердели. Глаза ледяно, жестко глядели в широкое, полное солнца небо. Рядом валялась нагая сабля. Она не успела взмахнуть ею, повоювать.

Вокруг них, обтекая их, бойцы морем под ветром катились по полю в торжествующую атаку, и уже осиливали колчаковцев, и побеждали. Сырой, влажный и винный запах победы, запах крови висел и плыл в холодном воздухе. Снег, лед, ветер, страх, счастье мешались и жгли, накатывали, отступали. Близкая весна плыла и горела совсем рядом.

И тут налетел сырой и серый ветер, опять все вмиг заледенело, зима взяла верх, Мишка дрожал всем телом под шинелью, под куцей гимнастеркой, под штопаным Пашкой исподним бельем.

— Пашка-а-а-а-а...

Бойцы убежали далеко вперед, ускакала конница. Мишка с Пашкой остались одни в зимнем поле. Ветер клонил и гнул Мишку к земле, мотал, как колокол на сгоревшей колокольне. Страшно было прижать к себе свою руку: войдет в пустое нутро, а там — горячий серый пепел.

— Пашенька... дrolечка моя...

Она была убита метким выстрелом. Пуля вошла в сердце и сразу остановила его. Она не мучилась.

— Ты... не попрощалась со мной...

Зарвел быком. Оторвал ее от себя и силой бросил на землю. Потом испугался, нежно обнял, как живую, сел, положил ее мертвую голову себе на грудь и все гладил, гладил перепачканную кровью ее шинель, и пальцы дрожали, как зимние птицы, на ветру. Снег вокруг них становился красным, пар вился над простреленной шинелью, над раной, над их голыми головами. Ветер вертел их волосы, играл с ними, смеялся над ними.

* * *

Латыш бросил копать мерзлую твердую землю, воткнул лопату в снег и отер запястьем пот с бледного лба.

Они оба, Мишка и Латыш, стояли над телом Пашки. Пашка лежала перед ними на земле смиренно, покорно. Смерть не исказила ее лица. Оно глядело с земли вверх —

и с закрытыми глазами: глядело тем светом, какой Мишка увидал горящим у нее лице, когда она впервые кормила ребенка. Глядело этим насильно отнятым у нее светом, всей неистраченной молодостью, бледностью погибели, ясностью судьбы. Все оборвалось, остались только смиренный свет — у нее и темная боль — у них, живых.

Рядом с Пашкой лежали ее сабля и ее винтовка.

— С ними похоронить?

Вопрос Латыша прозвучал холодно и ясно. Он что-то еще сказал, да ветер взвился, свистнул и заглушил, скомкал голос.

— Нет. Отдадим винтовку бойцам. Саблю я сам возьму.

— Хорошо. Тогда я возьму винтовку.

Скрестили глаза. Михаил отвернулся. Страшно, до дрожи кадыка, хотелось курить. А табака не было ни крошки.

Оба смотрели в яму, ее выкопал Латыш. Глубокою и узкою.

— Гроба нет, — тускло выговорил Лямин.

— Будем так.

Лопата была одна на двоих. Ее взял Латыш. Лямин шагнул вперед и грубо выдрал лопату из рук Латыша.

— Я сам.

— Работай. Устанешь — скажешь.

Мишка махал лопатой. В яму сыпались, летели черные комья. Пахло землей, корнями, гнилью, весной. Весна скрывалась рядом, за тем сыртом, за дальним курганом. Махал лопатой, махал — и вдруг отбросил лопату от себя, сел на корточки, согнул спину, закрыл глаза локтем. Трясся.

Латыш наклонился, взял лопату и стал аккуратно засыпать землю яму. Когда до края ямы уже оставалось немного насыпать земли, Латыш протянул лопату Мишке:

— На. Засыпь.

Мишка кидал и кидал землю, и скоро, быстро выростал на месте ямы холм, а лопата все металась и металась, все летала, Мишка вонзил ее в черный холод земли и вскинул на Латыша глаза, и Латыш глядел на него, и они читали в глазах друг у друга: «Я тебе сострадаю. Я — тебя — понимаю. Я — тебя — ненавижу. Терпи».

«Терпи... терпи... я так говорил ей... когда она рожала...»

Лопата сама вывалилась из рук. Черенок уткнулся в снег. Лоток, облепленный глиной, лежал на земле.

— Все?

Латыш опять усмехался.

— Все. Есть закурить?

— Нет.

— И у меня нет.

— Что будем делать?

— Ничего.

Латыш наклонился и поднял с земли лопату. Носком сапога счистил землю и грязь с лотка. Лямин стал мелко дрожать. Он — в той недавней яме, необъятной, страшной, заваленной бревнами и хвойными лапами — голую Марию вспомнил.

«Обе в земле. Мария — в земле, и Пашка — в земле. Земля всех пожрет. Всех съест. Всех нас. Никто не уклонится. Не удерет. А мы?! За что бьемся! Где же земля? Наша, наша земля? Где земля?! Где свобода?! Есть ли конец бойне?! Да кому, кому она нужна, эта бойня?! Нам?! Или — им?! А кто такие они?! И кто такие мы?! Нет границы! Нет! Они и мы — одна земля! Одна плоть! И кровь тоже — одна! Все — одно! Все — едино! А мы... все убиваем и убиваем... убиваем и убиваем... друг друга... друг — друга...»

Тучи ошалело неслись над их головами. Ветер дул холодный, страшный, а земля была теплая. Теплая и нежная. И — дышащая. «Сколько мертвых брошено в нее... в жадину... и все равно зачнет... и — родит... новых людей родит...»

Небо над ними вздувалось кусками серой шкуры, ветер, плохой скорняк, грубыми острыми ножницами все резал и резал эту мощную, лохматую баранью шкуру на новые, узкие и широкие лоскуты, кромсал, терзал. И снова шил, шивал острой, насквозь, навывлет, стальной и ледяной иглой.

Жесткие, железные лица людей атели от ветра, ненависти, горя, холода.

— Пашка, наш сынок, найду его, — сказал холодному черному холму на прощание.

Махнул рукой Латышу: пойдём! Но все стояли. Не в силах уйти.

* * *

В июне красные отбили у белых Уфу. В сентябре, подо Лбищенском, погиб в бою Чапаев.

Комдивом Двадцать пятой стрелковой дивизии стал Иван Кутяков. Кутяков жестко сказал им всем: воюем до последнего! И рубанул воздух короткопалой рукой. Они, бойцы, слушали, глядели и верили.

Время то бежало, задыхаясь, то ползло медной улиткой. Время, насквозь прошитое смертной медью пуль. Щедро посыпанное серым, тусклым перцем пороха. Ешь не хочу.

А может, его уж и не было, времени-то; были только они, люди, время изувечившие, укравшие его сами у себя.

...Лямин отпросился у Кутякова в Самару. Из Самары выбили белочехов, заплатив богатой кровью, да с юга на губернию двигались уральские белоказаки. Лямин решил так: пока передышка, съездить в Новый Буян. «Если сожгли село — хоть на пепелище посмотреть». Он до сих пор не знал, что с его домом, что с отцом, что с сестрой. «Дай-то Боже, чтобы живы хоть остались».

Шла, наползала из-за горбатых усталых увалов, снегами скалилась зима. Трясся в вагоне. Сгорбился у деревянной стенки. Дремал, нахлобучив на брови папаху, да ушки на макушке. Винтовку и во сне сторожил. Не ел, не пил: нечего было. Напротив крестьянин узелок на коленях развязал, творог из узелка руками ел: Михаил чуть руку не протянул — попросить кусочек. Крестьянин шамкал, медленно, с трудом прожевывал творог, все ел и ел, нескончаемо, нудно и соблазнительно. Лямин закрыл глаза, но чувствовал опасный, свежий и детский запах творога. Соленая горячая уха затекала в рот. Он жадно глотал ее.

...Понял — это его слезы.

* * *

Громадные зверьё спины Жигулей горбились, вздымались, опали, морщилась и ходила огромными застылыми волнами земля, лишь прикидывалась незыблемой и вечной, — ледяная Волга мчалась, застывала первым непрочным льдом, могуче, сверкающе заворачивая на юг, прорезая собой допотопную, мертвую древность. Здесь в меловых осыпях светятся гигантские скелеты мертвых спиральных раковин; на обрывах из осыпей торчат, как патроны, длинные страшные белемниты; Мишка с парнями не раз находил их на берегу, в сыром песке, у кромки прибоя. Огольцы вопили: «Чертов палец! И еще один!» Размахивались, швыряли их в реку, кто дальше кинет.

Земля ходила ходуном и вздымалась под ногами лесным, мохнатым черным тестом, осыпалась каменной соленой крошкой, скользила под ногой нежной наледью, лепилась к подошвам то белой, то синей, то рыжей глиной.

Шел в шинельке своей, с латаным вещевым мешком за плечами, штык горел на закатном солнце, по знакомой с детства дорожке, — уже к Буяну подходил. Ледок луж хрустел под сапогами. Люди на пути попадались. И большие, и малые. Ему все равно было — дети, бабы, мужики, старики. Он не различал лиц, не видел глаз и рук. Роста не видел. Возраста. С ним заговаривали. Он молчал. Так и шел молча. «Они думают — я глухой. Да я, может, уже и глухой».

Шел все быстрее, увидав первые избы. Все быстрее и быстрее. Все шире, бешенее шаг.

Уже — бежал. Бежал и глотал слюну, внезапно ставшую густой, сладкой. Слюна забивала горло.

Подходил — к пустоте.

...Ветер шевелил сухую траву на пепелище. Лямин глядел и не видел. Он не видел пустоты вместо дома, а потом увидел дом — дом стоял так крепко и мощно, вырастал из земли, неколебимый и веселый, как никогда; и вроде бы крашенный, и вроде обихоженный. Дверь стукнула, ветер ее сам открыл; и на крыльцо вышел заспанный Ефим, тер лоб и переносье сонным кулаком.

— Отец! — сказал Михаил мертво.

...Не было никакого отца.

Он стал видеть. Медленно поводил глазами. Щупал ими землю. Присел на корточки, взял в пальцы пепел, растирал в пальцах его. Холодный, черный и сизый, присыпанный снежной крупкой, как крупной солью. Пепел незаметно становился пальцами. Он сам медленно становился белемнитом. Кто-то, кто был сильнее, мощнее его, хотел вколоть его, белемнит, острым концом в землю; засыпать землю и пеплом.

Встал. Отер черную руку о шинель. Пошел по улице, глядя на еще живые, зрячие дома.

В иных горел свет. Он сам не знал, куда шел — ноги, как умного коня, сами привели его к дому Ереминых. Долго стоял, не решаясь войти, вцепившись в калитку. Толкнул калитку, прошлепал на крыльцо. Не крикнул, а просто сказал, скучно и негромко:

— Эй, есть кто живой?

Было понятно: есть. В хлеву мычала корова. Крыльцо подметено, снег налетал на чистые доски, и голик, связанный из ивовых прутьев, скромно стоял, приткнутый к резному деревянному столбу.

Долго слушал. Мерз на низовом ветру. Серые, синие тучи быстро летели с севера, от Волги, накрывали холодным платом село, распадки, горбы лесистых черных гор. Серая, затянута хрупким тощим льдом, изветренная земля вся продрогла побиружкой-сиротой, ее дырявая небесная шаль рвалась под ветром на ветхие куски конопляной мешковины, опять склеивалась, дрожа, в скорбную холщовую плащаницу, а снег утешал сироту, укрывал до горла, заметал толстым, густым одеялом.

Хотел уж идти. Внутри избы по половицам застучали босые, будто детские пятки. На крыльцо выбежала рябая девчонка. Вытирала мокрые руки о фартук.

— Душка!

Девчонка подняла руки, как бы защищаясь. И глазами мелко моргала, до смерти испугалась; и рот открыла, уже для крика.

Лямин взбегал на крыльцо, уже обнимал ее, притискивал к себе. Целовал в пахнувший овсом русский затылок.

— Душка, Душенька...

Душка отодвинула от груди Михаила рябое лицо. Щупала его, как дорогую вещь, как если бы он был — часы, обнова.

— Минька... здравствуй... на множество лет... а-а-а-а...

И — в слезы. Слезы бабьи, мелкие да частые, частый дождик, так близко непогода — лишь зазевайся, и посыплют.

Михаил тряс ее за плечи:

— Что?! Что...

— Ты видал свой до-о-о-о-ом?!

— Да видал. Видал!

— Спалили его-о-о-о-о!

— Как отец? Мать?

— Мама дома-а-а-а... Отец как ушел бить германцев, так и пропа-а-а-ал...

— Да чего ревешь-то, коровища?!

Опять обнимал, по голове гладил: ну все, все, все...

Душка шмыгала носом. Оспенные рябины тусклой рыбьей чешуей прилипли навек к зарозовевшему на морозце, корявому, будто из комков теста слепленному лицу.

— Ничего-о-о-о. Я все-о-о-о-о...

— Все, все. Как Наталья?

Душка утерла сопли и слезы ладонью, потом фартуком. Висморкалась в фартук и перекрестилась.

— Господи прости... Наталья? Хорошо. Лучше нас всех!

Он это понял по-своему.

— Умерла?! Что крестисься! А?!

Душка затрясла русой головой, и тощая коска у нее на затылке вмиг развилась, жидкие волосенки рассыпались по плечам.

— Да нет! Нет! С чего ты взял? Жива! Она — замужем! За Степкой Липатовым! У них в дому живет! Хлеб жует!

— Вот как. Ясно.

Он выпустил ее плечи. Опал весь, осунулся. Ноги не держали. Может, оголодал и просто есть хотел сильно. Сел на крыльцо, на приступок. Душка глядела на его спину под сукном старой шинели. На грязную папаху. На погоны Красной Армии. На согнутую шею, и на шее — медная цепка, крупные звенья; а там, под гимнастеркой, крест. Не звезда красная, а все равно Божий крест.

Плечи шинели встопорщились. Поднялись. Он шинелью, как земляной горой, хотел защититься от нового горя. А не было защиты; гулял ветер, выдувал со двора сор, мотал белье на веревке, сбивал с крыши проржавелые печные трубы.

Душка положила крепкую, уже сызмальства натруженную руку на болотное военное, грязное, в засохшей крови, сукно.

— Минька... Ну все, все...

Как он миг назад, так она теперь утешала его.

Хотел к избе Липатовых явиться. Наталью увидеть. Уже сами ноги туда понесли. Остановился, сжал кулаки и сам себе тускло, жестко сказал:

— Нечего и видаться. Все прошло. Живи, счастья наживай.

Пошел по улице, начиналась метель, снег сек ему лицо, а лицо горело, он снял папаху, и лицо ею вытер, и так шел, с голой башкой, папаху в руке, тяжело вдавливая в лед и грязь кожаные гири сапог, — шел прочь из села, прочь от родины, а под ногами, под сапогами все равно плыла грязью, пружинила стылой землей родина, и под горой зальделой рекой блестела она, родина, и из туч сыпала она, родина, мелким злобным, больно кусающим снегом, — он уходил с родины, а родина цеплялась

за сапоги его, за подошвы, ложилась под него мощным выгибом напитанной кровью, и льдом, и костями земли, крутилась под ним, дышала под ним, умирала и рождалась — под ним одним.

И он ярче всего, именно сейчас, знал, понимал: он — один, и родина — одна.

* * *

Размахивался вширь и вверх промозглый и холодный, как все в эту осень и эту зиму дни, серый, как шкура барсука, невзрачный день, когда Лямин в кузове попутного грузовика прибыл в село Аксаково. Здесь, перед боем, они с Пашкой оставили в избе у неведомых стариков новорожденного младенца. Он забыл улицы села, забыл дома; они все для него были и тогда, и теперь на одно лицо. Красный, медный свет керосиновых ламп, а может, свечей, а может, нищих лучин манко, зазывно, тревожно мерцал то в одном окне, то в другом. Он шел на свет, а потом шагал прочь от света. Иногда он останавливался, оглядывался и глядел на свои следы, оставленные в свежем, за ночь нападавшем крупитчатом снеге. Потом опять шел вперед. Ремень винтовки давил, не давал дышать. Он расстегнул ворот шинели. Отогнул сукно от шеи. Ветер ему был вместо платка.

Подходил к окнам, вглядывался, топтался, опять отходил и шел, шел. Голову кружило.

«Бабка... бабка... Как ее зовут... забыл...»

Да он и не знал. Шел и слушал странную, невоенную тишину. Будто не было на земле ни войн, ни революций, ни грохота танков, ни огня орудий, ни торопливого тархатенья пулеметов и тачанок, — ничего. А хоронились за зимними стенами крестьяне и поедали, в долгие зимние вечера, запасы, что успели сделать палящим летом и рыжей, красной осенью. «Жадные... куркули... едят... жить хотят...»

Остановился, весь краской залился: он забыл, что он — тоже крестьянин. И так же, на зиму, с отцом заготавливал всякую снедь.

...У косых ворот стояла старуха. На голове — для тепла — аж три платка; сморщенное лисье личико выглядывает из-под навесов шерсти, острый нос щепкой торчит.

Его толкнуло к ней: узнал. Подбежал. Вещевой мешок подпрыгивал на спине.

— Бабка... Бабка!

Наклонился и почему-то по-городскому, чинно поцеловал ей обе пахнущие горухом и ладаном сморщенные руки — сперва одну, затем другую. И зачем-то, тепло и слезно, с комом в глотке, выдавил:

— Мамка...

— Сыно-о-о-ок, — протянула бабка, и вязаные вытертые платки медленно сползли с ее древней головы, обнажив старое серебро редких, гладко зачесанных волос. Костяной маленький гребень упал в грязь. Михаил поднял его, сам в жиденькие седые волосенки воткнул.

— Узнала...

— Узнала.

— Жив мой сыночек?!

— Да жив, жив... што ты так орешь-то... уши закладывает...

Вместе прошли в дом. Михаил толкся близ притолоки.

— Мамушка, дальше не пойду... грязный я. Наслежу.

— И наследил! Хосподь с тобой!

— Где он?

Озирался. Сердце колошматило сильно и зло, вылетало вон из ребер.

— Да ты походи... Походи... Сядь вот, отдышись...

— А дед твой как?

— Деда на площади повесили, — буднично и даже скучно прошуршала бабка истертым, как ее платки, теплым голосом.

— А... внучок?

— А Митеньку стрельнули. Недавно. Сороковины уж прошли.

Сидел на табурете ровно. Бабка ушла в горенку. Ждал. Что он думал в это время? О чем? Как? Ни о чем. Это было впервые у него в жизни, что ни о чем не помышлял; мысли взлетели и все, разом, улетели прочь, внутри все было пусто — съедено, выпито до капли, выжжено дотла.

Не человек, а пустое, сшитое из тряпок и сложенное из битых горшков, страшное и смешное чучело сидело на шатком табурете. Глядело в окно, и глаза застывали; вот они уже и стеклянные пуговицы, как тому и положено быть у чучела. Хоть сейчас на огород ставь, и птицы в страхе разлетятся.

Бабка вышаркала из горницы, несла на руках ребенка. Ребенок был спеленут туго, верно, чтобы ни ручонкой, ни ножонкой не шевельнуть, — лежал у старухи на руках и посапывал.

— Спит, Хосподи прости, спит, — сказала бабка и нежно улыбнулась беззубым ртом, в янтарном свете керосиновой лампы сверкнули голые розовые десны. — Уснул! А то орет... так блажит, хоть всех святых выноси...

Лямин хотел встать — и не мог. Но все-таки встал. И принял у бабки из рук младенца. Он держал его на руках, а бабка все улыбалась, казала беззубые веселые десны.

— Спит! И отца даже и не чувствует... шельмец! А уж какой славенький, кохда... купаю его в лохани... а он — холяком... так и вертится, так и крутится ужом...

— Чем кормишь? — остатками голоса спросил Лямин.

— Да чем, чем! Всем, что под руку подвернется... Хосподь помогает... то хлебцем, то молочком... то кашкой на водице, себе варю, и он похлотаёт...

Лямин стоял с ребенком на руках и смотрел ему в спящее, спокойное лицо. Маленький ротик. Маленькие брови и веки. Маленькие щеки. Все маленькое. А будет большенькое. Когда? Может, и его самого тогда уж на белом свете не будет. А вот он — будет.

Едва слышно шептал, чтобы бабка не слышала:

— Это мой ребенок, мой, мой, мой, мой...

Опять стоял и молчал. Гирьки ходиков ползли вниз, дотягивались до половицы.

Медленно, молча, не слушая бабкиного бормотанья, Лямин вышел, осторожно прижимая к себе спящего ребенка, на низкое, вросшее в землю крыльцо; спустился вниз, ощутил под сапогами усталую жесткую землю.

— Сколько же тебе? Годик ведь скоро? А как тебя крестили? И крестили ли? Крестика-то ведь нет на тебе? А может, есть? — горько шептал он, радостно, счастливо нагибая тяжелую голову над младенцем, и огнем горели надо лбом его красные волосы, и он мотнул головой и скинул папаху, папаху упала наземь, он стоял посреди зимы с голой горячей головой, держал на руках своего сына, и влажные капли вдруг поползли по крохотному спящему личику — это Лямин сронил слезы на лицо мальчика.

— Как же тебя назвали-то?.. И то, вот я дурак, отец твой, и не спросил... И — сам не назвал... бабке не сказал... Да ведь как-то тебя звать-то надо... Миленок ты какой... бельчонок... Колокольчик мой... Коля, Коля, колокольчик... Николаша... Николашка... рваная рубашка...

Ветер рвал с крыши солому. Михаила прошиб пот: имя-то — царя. «Царское имя будешь носить... а ведь я — царя — убил...»

Ветер нанес снег, он ударил из тучи жестко, щедро и страшно, почти как град, — яростно летела в лицо Михаилу, била его по щекам и губам жесткая, острая белая крупа, вонзались в кожу ледяные иглы. Он всю спину передернул под шинелью. «Царь — убит... а ты — родился...»

И баба, лишь баба земная одна несет, чуть покачивая на широких, мощных плечах, на могуче выгнутом коромысле эти ведра снегов, эту чистую воду рек и озер, эту грязь, этот хлеб, эти зарницы, дальние огни, все эти жизни и смерти.

Он на миг увидал — с коромыслом и ведрами — веселую Наталью, потом — с саблей наголо, на скачущем наметом коне — Пашку.

И вдруг увидал Марию — она шла к нему медленно, радостно, сперва по снегу, по мерзлой земле, потом ноги ее стали отрываться от земли, от грязи проселочной дороги, и она уже шла по царским, золоченым, в лепнине, залам, потом по госпитальным коридорам, потом по утопанной народом снеговой, столбовой дороге к могучему храму, потом по хвойному этому, страшному лесу, по бревнам и еловым лапам, наваленным на яму, где нагие, изувеченные тела, потом выше сосен и елей, по облакам, по серым волглым тучам, и он ясно, хорошо видел ее крепкие круглые, яблочные плечи, ее сильные, налитые здоровьем и радостью руки, ее ясные, густосиние, веселые глаза, и он шептал, заплетая пьяным от горя и счастья языком: Волга... Волженька... Волга моя... — и все исчезли, он стоял один на израненной, укрытой снежным саваном земле, и снег летел ему на голую востроухую голову, путался в красных его волосах, рос двумя горками на плечах, падал на личико младенца, младенец сморщил нос, и чихнул, и открыл глаза.

Глаза ребенка глядели не бессмысленно. Они глядели подводно, подземно, ясно и небесно. В них переливался, сиял тот забытый людьми великий смысл, что и дает человеку на земле силы жить.

Будто бы он, малый младенец, что-то такое знал, доподлинно и верно, всем маленьким существом своим, всей непрожитой жизнью — истину. И никто эту истину не смог, не сумел еще ни втоптать в грязь, ни расстрелять, ни вздернуть на виселицу, ни рассечь саблею в кровавые куски.

— Николаша... Николка...

Он стоял с ребенком на руках, снег щедро и обреченно заметал их обоих, и Лямин распахнул шинель и упрятал сына под шинель, закрыл его от снега и ветра горячей грудью. Так стояли. Ребенок заплакал тихо и нежно, разевая рот, во рту дрожал его маленький красный язык, Лямин тихонько качал его и неловко напевал ему колыбельную, а он-то и колыбельных не знал, бормотал, гудел, что на ум придет, — чувствовал грудью, сердцем это родное, теплое тельце, и вот это и было одно, не убитое, не сожженное и не расстрелянное, единственное, что у него оставалось от всей его жизни, от всех искромсанных, расстрелянных жизней и от всех смертей: этот живой комочек, неразумный, теплый, горячий даже сквозь пеленки, пахнущий нежной мочой, жеваным хлебом и коровьим молоком, — его сын, Пашкин сын, Николай, — посреди бесконечной войны и обильно политых кровью полей, — его малый ребенок на его руках, под ветром и снегом, посреди его родной, черной, горячей, горящей земли.